

## В.В. Розанов

### Красота в природе и ее смысл

*Впервые опубликовано в журнале «Русское обозрение» №10 – 12, 1895 г.  
под названием «Что выражает собою красота природы?»*

---

В одной из книжек «Вопросов Философии и Психологии» за 1894 г. останавливает на себе внимание рассуждение нашего известного философа и публициста, г. Вл. Соловьева — «Красота в природе». Трудность предмета, которому посвящено оно, неволью заставляет прислушиваться к каждой мысли о нем; а когда мы знаем, что эти мысли принадлежат человеку испытанных способностей, наше внимание удваивается. И в самом деле, объяснить — почему звездное небо нравится нам более, нежели оно же в полдень, при ярком сиянии солнца<sup>1</sup>; отчего мы любимся радугой или наслаждаемся пением соловья, — это не только важно в виду ежедневно испытываемых нами подобных ощущений и тесной связи их с поэтическим и художественным творчеством, но и труднее, быть может, нежели разрешение какого бы то ни было другого вопроса в науке. Здесь мы соприкасаемся с темною и обширною областью чувств, которые так неуловимы в своем зарождении и переливах, что иногда даже простая попытка закрепить их словом, передать другому в описании — представляется нам грубою и несовершенною; и тем менее ожидаем мы удачи, тем более опасаемся грубости, когда видим желание определить их сущность и причину. Вот почему, нисколько не удивительно, что здесь резче, нежели где-нибудь, выразилось чрезмерное неравенство нашего (мы говорим о русских) эстетического и умственного развития. В то время как ощущения эти, в течение долгих столетий испытываемые нашим народом, нашли в темных недрах его, и в более развитых его представителях поэтические способы выражения и иногда в несравненно высокой форме, — ни разу не нашлось среди него достаточно сильной мысли, которая задумалась бы над этими ощущениями, анализировала их и попыталась объяснить.

Вот почему со всем недостающим, что есть в подобной попытке, мы готовы примириться, если в том, что она даст положительного, есть

---

<sup>1</sup> На звездное небо мы можем *смотреть* долго, *не отрываясь*, и при этом вовсе не рассматривая на нем созвездий; днем на небо мы можем только *взглянуть*, *налюбоваться* им, *восхититься*, вообще пережить момент наслаждения, но не наслаждение длящееся.

хотя какой-нибудь объясняющий свет. И это двоякое ощущение — удовлетворенности и сознания недостатка испытывается невольно при чтении только что называемой статьи. Почти повсюду автор ее не только открывает подступы к решению неизмеримо трудной задачи, но и восходя на них — бросает светлые мысли на все ее отдельные стороны. Некоторое единство в нескончаемо разнообразных проявлениях красоты, скрытая сущность того, что именно выражается в ней, — все это указывается им, определяется порой с удивительным искусством, и, прочтя ее, всякий получает хоть какую-нибудь возможность думать о том, о чем он раньше совсем и ничего не мог думать. Но этой положительной стороне сопутствует постоянно один недостаток, и он едва ли будет когда-нибудь совершенно возмещен в эстетике: мы говорим об особом характере доказательств, сопровождающих ее положительные указания, который всегда оставляет возможность не принимать последние. И в самом деле, едва ли еще когда-нибудь будет открыта для науки область явлений, где основательные утверждения будут так же трудны, как в отношении явлений красоты, и где возражения были бы так легки. Обычные приемы доказательств, употребительные в других науках, почти не приложимы здесь; и вся убедительность утверждений основывается на *аналогиях*, на *уподоблениях*, — на том, что мысль утверждающего без *внутренних противоречий*, не изменяя самой себе и своей исходной точке, находит возможным касаться разнообразных сфер прекрасного. Если, при этом, она не встречает непреодолимого противоречия в самых фактах; если переходя от мира образов к миру звуков и от человеческого творчества — к окружающей природе, она нигде не обрывается, — мы уже внутренне сочувствуем ей, как бы ни были шатки и смутны ее основы: мы уже сомневаемся, не близка ли она в самом деле к истине, которой предстоит, быть может, остаться здесь окутанною вечным сумраком. Правдоподобность догадок о том, чего мы не можем и однако же хотим знать — вот истинное определение научной достоверности эстетических рассуждений как теперь, так вероятно, и в далеком будущем.

Можно сожалеть, как о недостатке строгости к себе, о том, что г. Вл. Соловьев не оговорил точно этой степени достоверности высказываемых им соображений. Любя истину, мы не только должны стремиться к ней, но и твердо знать, когда ее не достигаем и в последнем случае бережно должны предостерегать каждого, кто мог бы принять нас за обладающих ею. Как ни готовы мы сочувствовать его мыслям о том, что все проявления красоты в физической, безжизненной природе зависят от проникновения грубой, косной материи световым эфиром, как первую реализацией идеи, — мы конечно не должны за-

бывать, что это только слова, сложившиеся в некоторое понятие, но не истина, опирающаяся на какие-нибудь доводы. Но, повторяем, доказывать что-либо в этой непроницаемо темной области науки так трудно, а опровергать так легко, что едва ли может у кого-нибудь пробудиться желание избрать для себя второе, возложив на других первое. В общем, все соображения г. Вл. Соловьева о красоте в механически устроенной, внешней природе если и не обоснованы, то так внутренне связаны, что они совершенно имеют ту слабую степень убедительности, которая одна только достижима здесь.

Но этого нельзя сказать о второй половине его статьи, где он занимается разбором явлений красоты в органической природе. Ошибки, в которые он впадает здесь, так грубы, что их можно было бы принять за простую небрежность языка, если бы и помимо его статьи они не повторялись слишком часто, постоянно и всегда в одной и той же форме. Здесь, очевидно, скрывается не небрежность в слове, но небрежность в мысли, совершенно правильно выраженной словом.

Ошибка эта, всецело перенесенная г. Вл. Соловьевым в свою статью из естественнонаучных произведений и в особенности из трудов Ч. Дарвина, касается вопроса о том, *как произошли прекрасные формы в царстве животных и растений, каким образом они ощущаются первыми и что именно это ощущение вызывает собою?* Дарвин, повторяя в применении к рассматриваемой области свой обычный прием мысли, утверждал, что красота *чувствуется* животными, дает *преимущество* прекраснейшим из них в борьбе за существование и этим путем медленно *нарастает* и постоянно *укрепляется*. В этом изгибе мышления, в этой новой связи понятий, порознь всегда известных, в сущности скрыт весь дарвинизм; в нем английский ученый дал *метод* объяснения природы; он *создал как бы новый силлогизм*, под формулу которого стали подводиться всевозможные явления животной, растительной и даже человеческой жизни. И нельзя не заметить, что как бы ни сузилась со временем применимость этой формулы, как бы много областей действительности ни оказались изъятыми из ее приложения, хотя бы изъята была даже вся органическая природа, — однако в абстрактном своем виде, и прилагаемая хотя бы только к мельчайшим деталям, эта формула сохранится навсегда. «Полезное *охраняет*», поэтому *сохраняется* само, и, суммируясь в веках, является как новая черта органического сложения, как прежде не бывший орган — это так просто, так, наконец, это правдоподобно (по крайней мере, — до последнего умозаключения), так действительно, что, в применении к органам ли или чему другому, человек — ранее, нежели прибегнет к другим более сложным приемам мысли, — всегда повторит за Дарвином этот про-

стейший. В данной рассматриваемой области, в области явлений красоты, г. Вл. Соловьев находит удобным повторить этот именно круг мысли, — и здесь-то, почти повторяя Ч. Дарвина, он и впадает в те ошибки, о которых мы упомянули, как об очень грубых, и хотели бы их поправить.

## I

«Жизнь животного, — говорит г. Вл. Соловьев, — определяется двумя главными интересами: поддерживать себя посредством питания и увековечивать свой вид посредством размножения. Эта последняя цель, разумеется, не существует в сознании самого животного, а достигается природою косвенно чрез возбуждение полового влечения в разнополых особях. Но космический художник пользуется этим половым влечением не только для увековечения, но и для украшения данных животных форм. Особи активного пола, самцы — преследуют самку и вступают из-за нее в борьбу друг с другом; и вот оказывается, по словам Дарвина, что способность различным образом *прельщать* самку (курсив принадлежит автору) имеет в различных случаях большее значение, нежели способность побеждать других самцов в открытом бою».

Здесь указывается пока, что красота, даваемая животным природою, употребляется ими как некоторое средство для достижения известных целей — что они *ощущают* ее и *пользуются* ею. В примере слизняков и некоторых других низших животных, который затем приводит г. Вл. Соловьев, у него как будто скользит уже мысль, что эта красота не только ощущается животными и они пользуются ею, но что до, известной степени, иногда по крайней мере, они и *создают* ее или *усиливают* в тех же внешних целях: «если улитки пленяют друг друга своими аллюрами, то другие, более зрячие моллюски еще легче могут оказывать подобное действие красотою своих раковин». Здесь привлекательность движений, очевидно *произвольно* и *преднамеренно* совершаемых, уравнивается, как средство привлечения самок, с красотою цвета, и не отличается, что последний не может быть создан произвольно и преднамеренно существами, которым он присущ. Слова, заканчивающие приводимый пример, также мало могут рассеять это недоразумение: «дело ясное», говорит он, «у ракообразных и пауков; здесь самцы некоторых видов приобретают во время половой зрелости яркую и разнообразную окраску, какой не имели прежде и которая отсутствует у самок». Так как этот признак появляется, когда он нужен, и исчезает, когда перестает быть нужным, то у читателя естественно

может возникнуть мысль, что он создается, и именно в интересах достижения некоторой внешней цели (привлечения самок). Следующий пример еще более может укрепить в читателе эту мысль: «Фриц Мюллер пишет Дарвину из южной Бразилии, что он часто присутствовал при музыкальном *состязании* между двумя или тремя самцами цикады, имевшими особенно звонкий голос и сидевшими на значительном расстоянии друг от друга. Как только один кончал свою песню, так сейчас же начинал другой, и, таким образом, они все время чередовались между собою. Так как здесь, справедливо замечает Дарвин, обнаруживается столько соперничества между самцами, то весьма вероятно, что самки не только распознают их по издаваемым ими звукам, но что они, подобно птичьим самкам, *прельщаются* или возбуждаются тем из самцов, который обладает *самым привлекательным голосом*». И далее: «у насекомых, принадлежащих к отряду Neuroptera, замечается не только особенное украшение крыльев у самцов перед спариванием, но наблюдается у разных видов предпочтение того или другого цвета... У некоторых видов жуков самцы отличаются огромными и весьма изменчивыми и причудливыми рогами, которые, как доказывает Дарвин, несомненно имеют характер украшения для прельщения самок»... «У многих видов бабочек замечается, что верхняя поверхность крыльев (в противоположность нижней), которую *порхающий самец показывает самке во время ухаживания*, раскрашена и разрисована с таким причудливым изяществом, которое не оставляет никакого сомнения в преобладании здесь чисто эстетического фактора».

Во всех этих примерах, которые приведены, но не объяснены и даже не разграничены, ясно высказывается мысль о некотором участии живых существ в создании тех прекрасных форм, которых они являются носителями. Силою какого-то внутреннего напряжения они как будто или вызывают эту красоту, или усиливают ее, — и делают это, чтобы привлечь к себе особей другого пола. В примере цикад, соперничающих музыкальностью и силой издаваемых ими звуков — это ясно; но и другие факты выражения красоты в природе поставлены в ряд с этим примером и их отличие от него не оговорено ни одним словом. В приводимых далее примерах видно, что автор и действительно приравнивает (по произвольности выражения) «яркую и разнообразную окраску» некоторых пауков и ракообразных во время половой зрелости — к звукам, которые издают тропические цикады:

«*Неравнодушны*», — говорит он, — «к красоте и рыбы. *Этим только объясняется, что у многих видов этого класса самцы* (вообще более красивые, чем самки) *развивают во время спаривания особую красоту цветов и форм*». Здесь прямо выражено, что окраска наруж-

ных покровов производится преднамеренно живыми существами для достижения внешней цели — привлечения самок. В следующих примерах к этой произвольности присоединяются и черты как бы некоторой кокетливости: «самцы тритонов *пленяют* своих подруг *красивыми гребнями*, а у лягушек только самцы же, и *лишь во время ухаживанья, дают свои концерты*... В одном роде ящериц (*Sitana*) горло самцов снабжено большим, ярко окрашенным (во время спаривания) кожаным придатком, который *они распускают, как веер, перед самками*... Птицы почти все *основывают свои брачные успехи на обнаруживании того или другого эстетического свойства*, причем замечается, что блестящая окраска и способность к благозвучному пению обыкновенно не совпадает, но слабость одного из этих преимуществ возмещается развитием другого. Всего любопытнее у птиц то, что они *явно сознательно относятся к своей красоте и тщеславятся ею* не только *перед самками*, но и перед посторонними наблюдателями. Сам Дарвин не редко видел, что *павлин щеголял* своим убором не только перед курами, но и перед свиньями. Все естествоиспытатели, внимательно наблюдавшие птиц как на свободе, так и в неволе, единогласно утверждают, что *самцы находят удовольствие* в том, чтобы *выставлять напоказ свою красоту* (курсив везде принадлежит нам)».

Этим исчерпываются приводимые г. Вл. Соловьевым примеры, которые он заимствовал из книги Ч. Дарвина «Происхождение человека и половой подбор» и в объяснении смысла которых он не расходится с английским ученым. Как общий итог всех своих мыслей о красоте органических форм, он произносит, в самом конце своей статьи, следующее суждение: «в мире животных общая космическая цель («воплощение реальной идеи, то есть света и жизни, в различных формах природной красоты», как сказано у него ранее) достигается *при их собственном участии и содействии*, чрез возбуждение в них известных внутренних стремлений и чувств. *Природа не устрояет и не украшает животных* как внешний материал, а *заставляет их самих устроять и украшать себя*» (курсив принадлежит нам). Человек, объясняет он далее, только тем, создавая прекрасное в искусствах, отличается от животного, что, тогда как последнее не сознает высших космических целей воплощения красоты, — он их сознает и к ним стремится осмысленно и свободно.

## II

Вот мысли, которые нельзя не признать величайшим заблуждением. Красота признается не только существующею объективно для

человека, разлитою в природе и ощущаемую лишь наряду с другими живыми существами, но утверждается, кроме того, что она возникает и погасает по мере надобности для тех существ, которые являются ее носителями, что она создается их преднамеренными усилиями. Природа не только прекрасна, утверждает автор разбираемой статьи, но она также еще и кокетлива. Именно это последнее утверждение и представляется нам грубой ошибкой.

С тех пор как естественные науки утратили свою связь с философией и представители их не изошряют более свою мысль на ее тонких и гибких понятиях, сила объясняющего суждения замечательным образом понизилась в естественно научных произведениях. Можно удивляться только, как смотря на природу, явления которой так иногда ясно говорят о своем внутреннем смысле, ученые совершенно не замечают этого смысла и говорят о ней слова грубые и темные. Природа силится им сказать о себе, но не может и говорит только немым языком своих явлений; а они не понимают этого языка и, видя только ее мучительные усилия, описывают их вид и форму, не предчувствуя совершенно того, что за ними скрывается. Когда же берутся объяснять их, то начинают говорить что-то искусственное и придуманное, что не только не отвечает скрытому смыслу явлений, но и точной форме их, простому внешнему виду.

Приведенные выше факты и мысль, которою они связаны, могут служить одним из самых поразительных примеров подобного несоответствия между действительностью и теорией. Все эти факты уже заключают в себе две черты, которые совершенно роняют достоинство объяснений, продуманных для этих фактов.

И в самом деле, все прекрасные формы и цвета, только что описанные, суть формы и цвета *видовые*, а не *индивидуальные*, — и, как таковые, они не могут ни в каком случае служить к выгоде одной особи перед другими особями, с которыми она борется за обладание самкой, потому что борется она не с особями другого вида, которые могут быть менее украшены и побеждены, но всегда и только с особями своего же вида, которые все украшены одинаково и поэтому не могут быть побеждены. Только *индивидуальное* отличие может быть выгодно для особи, только исключительная и частная красота могла бы дать ей какое-нибудь преимущество над всеми остальными в цели привлечения к себе самок. Как можем мы думать, что красота крыльев бабочки-самца служит *для* прельщения самок, «которым он их показывает, порхая во время ухаживанья», если совершенно такие же крылья показывает и всякий другой порхающий самец? Или, как «неравнодушных к красоте рыб-самок самцы могут прельщать ярким окрашиванием своим во

время спаривания», если они все окрашиваются одинаковым образом? Совершенно ясно, что прельщение самок не играет здесь никакой роли, что красота форм и цветов в органической природе не есть средство для этого.

Если, далее, мы обратим внимание на то, которому из двух полов присущи бывают красивые формы и цвета, то *еще* более убедимся в несправедливости приводимых объяснений. Не самки, но именно самцы являются украшенными в природе, *и они же ищут и выбирают самок*, которые остаются при этом пассивными. Если бы красивые формы и цвета служили средством для привлечения одним полом особей другого пола, то они, конечно, должны бы находиться на том из них, который является пассивным при спаривании. Тогда активно ищущий пол, привлекаемый красотой (она и здесь должна бы быть индивидуальной) одной особой сравнительно с другими, оплодотворял бы их преимущественно перед прочими, за ними утверждал бы потомство и тем укреплял бы в природе их прекрасные формы. Но в действительности происходит явление совершенно обратное: выбираемые являются неукрашенными, а избирающие красивые, хотя это им и не нужно. Если бы самцы, в красоте форм своего пола, сидели неподвижно и ожидали самок, или если бы, окружая самку, они прельщали ее и заставляли приблизиться к себе — тогда преимущество их в красоте было бы понятно. Напротив, оно совершенно непонятно, когда именно самки выжидают неподвижно приближения самцов<sup>1</sup>, и во всяком случае, при приближении нескольких из них, отдаются ближайшему, а не более красивому — чего, впрочем, и нет, потому что они все одинаковы.

Эти два соображения так просты и вместе так убедительны, их сила так одинаково применима ко всей области органических форм, что мы не считаем необходимым развивать их далее или прибавлять к ним что-нибудь новое. Но, раз данное объяснение красоты в природе неправильно, является потребность найти другое, которое ближе подошло бы к истине, лучше отвечало бы фактам.

### III

Некоторые особенности, встречаемые постоянно в явлениях органической красоты и указанные самим Дарвином и другими натуралистами, могут пролить свет на загадочный источник, откуда она возни-

---

<sup>1</sup> Г. Вл. Соловьев сам выше говорит «особи активного пола, самцы преследуют самку» и пр.



кает и развивается.

Если в растительном и животном царствах красота является не у тех, кому она могла бы быть нужна (особи женского пола), и не в той форме, в какой единственно могла бы быть полезною (индивидуализированная), и это подтверждается всеми сделанными наблюдениями, — то в них же, в этих наблюдениях, открывается и то, что она повсюду и неизменно является там, где *жизненная энергия повышается в своем напряжении*. Прекрасное в органической природе не есть средство для чего-либо и в создании его нет ни произвола, ни какой-либо ответственности: оно есть произвольное и естественное выражение жизненной энергии, особенная форма, в которую, наряду с бесчисленными другими формами, эта энергия преобразовывается. В существовании каждой особи и в жизни целого органического мира мы одинаково наблюдаем, как повышения или понижения ее сопровождаются расцветом или померканием и внешней красоты, в чем бы она ни выражалась — в цветах, звуках или линиях очертания. Но чтобы сделать яснее факт этого постоянного сопутствования, мы должны точнее определить, что именно разумеем под жизненной энергией.

Вся совокупность растительных и животных форм, покрывающих теперь землю и наполнявших некогда ее пласты, признается рядом звеньев одного великого и сложного процесса, который носит название *органического*. Эти звенья, единичные *особи* органического мира, являются разъединенными друг от друга и местом и временем своего индивидуального существования; но есть один акт, через который они все соприкасаются между собою и в силу которого, именно, мы и признаем их лишь *звеньями* целого, а не совершенно изолированными друг от друга существами, подобными напр. минералам: это — акт рождения. В течение всей своей жизни одиноко растущая или прихотливо движущаяся особь является уединенною от всех других, свободно от их влияния и с ними не связанною; но в один миг своего существования, первый и самый важный — когда рождается, она примыкает непосредственно к морю органической жизни, разлитой по земле и уже продолжающейся тысячелетия; и в краткие же мгновения своего последующего существования — когда рождает, она соединяется с тою жизнью, которая останется на земле; после того, как она сама сделается горстью праха. Таким образом, в акте рождения соединен весь органический мир, так разъединенный во всем остальном своем существовании, которое всегда индивидуально. Через него особь примыкает к целому и в нем же принимает она на себя все неизгладимые черты своего сложения, как физического, так равно и духовного. Неощутимым образом через этот акт целое накидывает на появляющееся еди-

ничное существо сеть как бы пределов, из которых оно никогда не выйдет, в которых все совершит, всего будет желать и всего достигнет. Таким образом органическая жизнь, не прерванная на расстоянии тысячелетий и связанная на всей земле, как бы пульсирует в индивидуальном существовании, и судьба каждой особи, от рождения и до смерти, есть только единичное биение этой великой жизни, удар ее, воспринятый и переданный, — необходимое, хотя и пропадающее мгновение в потоке вечности. Как, по какой форме происходит это пульсирование? Или, что то же, по какому типу совершается развитие органической жизни на земле?

Ответ на это может быть найден путем определения скрытого центра, откуда происходит самое биение органической жизни. Положение этого центра может быть выведено из наблюдения над самыми общими и постоянными фактами, в которых выражается существование органического мира от первого появления его на земле до его теперешнего состояния. Но чтобы смысл этих фактов, их указующее значение было вполне ясно, нужно сказать предварительно несколько слов о зависимости вообще всякого явления от его близости к первоначальной причине, служащей общим источником ряда фактов, в котором данное наблюдаемое явление есть одно звено.

#### IV

Всякий раз, когда какая-либо причина производит ряд подобных явлений, сила ее действия умалется по мере того, как они дальше и дальше от нее отходят; и, наоборот, возрастает по мере того, как они к ней приближаются. А с тем вместе и каждое единичное явление, которое несет в себе миг этого действия и им существует, бывает выражено тем ярче и полнее — оно тем больше заключает в себе бытия, в чем бы последнее ни проявилось, — чем ближе, в ряду однородных явлений, стоит к их общему источнику. Так движение камня, подброшенного вверх, бывает наиболее быстро в момент отделения его от подбросившей руки; и, наоборот, когда он падает, его движение наиболее быстро в момент прикосновения к земле, которая его притянула. Рука и земля, в обоих случаях, являются общим источником бесчисленного ряда неуловимо малых перемещений камня, сливающихся в линию его полета; и из этих перемещений ни одно по своим качествам (быстроте) не похоже на другое, но каждое ближайшее к своей причине энергичнее, нежели более удаленное от нее. Равным образом, если мы возьмем сферу, столь несхожую с механическими явлениями и так, по-видимому, от них удаленную, как жизнь психическая и историче-

ская, мы увидим нечто аналогичное и в ней. Осуществление замысла какого-нибудь — еще тускло, недеятельно, пока он обдумывается только, когда манящий человека предмет далек; оно напряженнее в моменты, когда уже осуществляется, и, наконец, обращается в страсть, в порыв, когда предмет обладания уже находится перед глазами, или вещь исполняемая — почти готова. Великие завоеватели именно тогда уже, когда почти ничто не мешало ни величию их, ни всякому кажущемуся счастью, против этого «почти» устремлялись всегда так стремительно, что иногда гибли от необдуманности и быстроты движения (Персия — против Греции, Наполеон — против России; с иным исходом — Тамерлан против ненужной и даже неизвестной ему восточной Европы). В этих и подобных фактах, число которых каждый без труда может увеличить, присматриваясь к окружающему, мы наблюдаем, что всякий раз, когда одна и та же причина порождает ряд звеньев — те из них, которые к ней ближе, исполнены бывают сильнеешего напряжения.

## V

Если, руководимые этою мыслью, мы обратимся к органическому миру и захотим спросить себя: в чем именно здесь должна выразиться энергия явлений, которая для движения выражается в быстроте его, для света — в яркости, для желания — в его возрастающей нетерпеливости и пр., то, вникая в главное, к чему направляется органическая жизнь, что в ней творится, мы должны будем ответить следующее: при равенстве прочих условий, *количество жизненной энергии, заключенной в каждом организме, тем более* (в нем сравнительно с другими организмами), *чем развитее его органическое сложение*, т. е. чем многочисленнее и разнообразнее его функции и чем отчетливее и исключительнее каждая из них. Пусть причина, движущая органическую жизнь и заставляющая ее трансформироваться из одной формы в другую, остается вечно неизвестною; все-таки несомненным будет, что *напряжение* этой силы тогда больше, когда она производит сложное, чем когда она создает простое, — хотя бы уже потому, что сложное состоит из простого, которое в нем удвоено, утроено и т. д.

Таким образом, 1) *сложность организации* и 2) *обилие своеобразных* (одна на другую не похожих) *функций*, в ней совершающихся, может служить несомненным критерием степени напряжения жизненной энергии на всех ступенях растительного и животного мира. Руководимые показаниями этого критерия, мы уже без труда можем определить, в каком направлении энергия жизни увеличивается и,

следовательно, где находится скрытный центр ее биения.

Самый общий и постоянный факт, наблюдаемый в развитии органического мира от момента его появления на земле и до настоящего времени, заключается в том, что сложность организации отдельных особей, его составляющих собою, была все возрастающею во времени и никогда — убывающею. Вечное усложнение в строении, увеличение числа функций и ускорение каждой функции порознь — это и есть элементы, которые мы соединяем в одно целое, обозначая их общим именем *развития*. Простая протоплазма, эта живая слизь, без какой-либо организации и с одним общим свойством всего живого — раздражимостью<sup>1</sup>, была первою основой органического мира. Эта бесформенная и почти косная масса была носительницею жизни, которая здесь едва мерцала, одна была различима. Актом рождения, без какого-либо перерыва в темной глубине веков, с этою протоплазмой соединен органический мир, теперь покрывающий землю, — этот трепет жизни, эта красота мироздания, это чудное разнообразие форм, цветов и звуков, наполняющих землю и оглушающих ее шумом вечной радости. Будем ли мы отрицать, что энергия жизни в нем теперь не больше, чем она была в той первой протоплазме, что она нисколько по времени не возросла? Нужно закрыть глаза на землю, чтобы сказать это;

---

<sup>1</sup> После долгих и тщетных попыток найти: *что есть безусловно общего во всех живых существах и безусловно постоянного в них, пока они живы*, — ученые остановились, наконец, на мысли, что это *есть раздражимость*. Кембриджский профессор Глиссон (в XVII в.) первый указал на нее, как на общее свойство всех живых тканей, и видел в ней истинную причину жизни; последующие ученые все более находили, что разнообразные формы органической жизни *суть действительно* только модификация этого первичного свойства. Понятны, поэтому, попытки их дать строгое определение того важного явления; однако, они и до сих пор не остановились ни на чем общем. Нам думается, что правильнее всего явление раздражимости можно определить так: оно *есть свойство отвечать на действие внешнего агента большим или меньшим, нежели сколько содержит в себе это действие, рассматриваемое как причина*. Таким образом, раздражимость есть первое нарушение основного закона механики, что *действие равно противодействию* или обратно: *противодействие равно действию*, — и выводит весь ряд существ, обладающих ею, из-под законов механической природы и образует из них особый мир живых и органических существ. Внутренняя причина, лежащая в воспринимающем действии существе, которая уделает или задерживает это противодействие, может совершить это потому только, что она не есть причина механически действующая. Некоторый излишек в движении против законов механики создается при этом, или, напротив, производится некоторый недостаток. Эта способность — поглощать в себя движение или производить из себя его — есть глубочайшая черта органической природы. В этой органической природе есть некоторая скрытая глубь, куда уходят и откуда возникают явления без того, чтобы вы видели их последствия или причины. Потому-то и правильно думают, что там, где начинается органическая природа, начинается господство совершенно особенных законов и сил, нежели какое мы знаем во внешнем, окружающем нас мире. Не удивительно, что эти законы и силы до сих пор совершенно не разгаданы.

нужно преднамеренно отвернуться от природы, чтобы не слушать ее голоса и в этой глухоте и слепоте сохранить *свою* мысль и избежать вывода, который уже теперь ясен.

И в самом деле, если энергия органической жизни является возрастающею во времени, и это выражается в общем и постоянном факте возрастания сложности органического строения, то это не может зависеть ни от чего другого, кроме как от того только, что она приближается к своей причине, а не удаляется от нее. То есть, скрытый центр, откуда пульсирует в течение тысячелетий органическая жизнь, лежит не позади органических явлений, и они не исходят из него, не отталкиваются им, но — впереди их и они стремятся к нему, восходят.

## VI

Всякий раз, когда источник какого-нибудь действия лежит позади этого действия (в пространстве или времени) — мы усвоаем ему имя *причины*: таков толчок по отношению к движению; напротив, когда источник действия лежит впереди или после его — мы называем его *целью*: такова улучшенная форма чего-либо по отношению к процессу улучшения, через который оно проходит. Процессы, которые исходят от своих причин, всегда суть процессы только количественные; и с одной же количественной стороны могут быть познаваемы предметы, которые являются результатами их (масса, объем, фигура, положение и т. п.). Напротив, процессы, которые выходят к своим целям, суть также и качественные: качество есть новая сторона здесь, которая зависит от большего или меньшего соответствия целесообразно устроенных предметов или целесообразно совершающихся явлений с конечною целью, к которой они восходят, ради которой они устроены или совершаются.

Таким образом — не причина, скрытая в глубине времен, есть движущее начало всего органического процесса; но — цель, лежащая в будущем и нам еще неизвестная, которая устроит этот мир и переводит его от формы к форме с помощью причин, механических в отдельности, но в целом планомерно расположенных. Подобно тому, как и воля человека, целесообразно устрояющая государство или возводящая здание, опирается на законы природы или души человеческой и действует с помощью их механически.

## VII

Жизненное напряжение, о котором мы сказали ранее, что оно есть

источник красоты в органической природе, раскрывается, таким образом, перед нами как сила скрытой целесообразности, не дающей органическим формам остановиться, пока цель всего органического процесса еще не достигнута; и она же мешает этим формам слиться в ряде тождественных, не отличимых друг от друга существ, пока ни в одной органической особи цель не достигнута, — и это есть истинная причина ее стремления рождать. Если бы дети совершенно походили на своих родителей — самого акта рождения не было бы в органической природе; возможное различие того, что будет порождено, есть настоящая причина всякого зарождения, какое когда-либо было. Потому что без этого различия не было бы приближения органических форм к своему источнику, а оно, это приближение, и есть источник жизненной энергии, которая сообщается особи в момент ее зачатия и даст ей силу повторить его. Особь есть только мимолетное звено в процессе вечного достижания; и она живет и дает другим существам жизнь лишь настолько, насколько достигает. Индивидуальные различия, которые мы находим во всех особях данного вида, есть результат их усилий переступить через границы своего вида — далее; и, насколько они уже бессильны сделать это сами, потому что связаны родительскою формой, которую несколько разрушили, и не в силах разрушить более — они стремятся достигнуть этого, по крайней мере, в потомстве. В этих усилиях, в этих вечных всплесках жизненной волны к своему неподвижному источнику, не все достигают своей цели: многие уклоняются в сторону или под влиянием внешних физических деятелей, или потому, что самое усилие было судорожно и неправильно; большинство не переходит обыкновенного уровня поднятия и, обессиленное — падает назад; но некоторые поднимаются высоко — и появляется то, что принято называть «крупными самопроизвольными изменениями организмов»: первая ступень в образовании нового вида. Явление смерти, как индивидуальной, так и видовой, равным образом явление уродливости — эти не общие и исключительные особенности органической природы — находят здесь свое объяснение. Смерть есть угасание жизненной энергии, происходящее от того, что она не доходит в особь или вид из вечного источника, к которому они стремились некогда приблизиться — и тогда жили, и соотношение с которым теперь почему-либо в них прервано. Бессилие стать к этому источнику ближе есть причина смерти, как самое приближение — причина жизни. В общем же причиною того и другого служит бессилие или, наоборот, способность производить из себя различное. Всякий раз, когда в акте рождения уже передана особью своему потомству способность к дальнейшему достижению цели, и она ничего более не может сделать,

как только повторить себя — она выпадает из органического процесса, как его ненужное звено, и умирает. Здесь лежит объяснение и явления старости — этого бледного и косного существования, где жизнь уже не поднимается более, где остаток ее, слишком недостаточный, чтобы передаться, медленно растрачивается на поддержание в неподвижном состоянии прежней организации; и когда растрачивается на это все — организм разрушается. Отсюда же объясняется и то, что этого явления старости, иногда продолжительного в высших организованных существах, полных жизненной энергии, нет в низших, со слабою энергией, которой едва хватает на то, чтобы передаться потомству в несколько увеличенном виде: поэтому многие из них умирают, как только родят. Так происходит индивидуальная смерть. Вид же или род умирает потому и тогда, когда он или породил уже высшую, чем сам, органическую форму, или когда он уклонился с пути этого порождения лучшего. В первом случае он связан с ныне живущими видами и родами непрерывающимся рядом промежуточных форм; во втором случае он является вымершим без потомства, как бы отделившеюся от органического мира ветвью, которая угасла, ничего не производя. И там и здесь органическая форма вымерла потому, что утратила силу рождения, сделавшись способною только повторять себя, но не производить что-либо новое, ближайшее к вечно достигаемому источнику всей органической жизни.

Отсюда соотносительность жизни и смерти в органической природе: — невозможность породить первую, не приняв в себя второй. Всякое созидание *иного* есть разрушение *себя*, и это в каждой частице организма, во всем в нем как особи, и в целом органическом мире. Это от того, что невозможно достигнуть чего-либо, не став тотчас же ненужным более настолько и в том именно, насколько и в чем достигнуто.

## VIII

Теперь, установив эту общую точку зрения на органическую природу и ее развитие, обратимся к более частному рассмотрению одного явления в ней — *красоты*. Мы увидим, что оно замечательным образом объясняется из этого взгляда, а он, взамен, получает в этом явлении фактическое подтверждение.

Мы сказали ранее, что красота есть особая форма, в которую преобразуется органическая энергия, что она есть только проявление последней, в котором нет ни произвольности, ни чего-либо преднамеренного или искусственного. И в самом деле, все ее повышения совпадают с повышениями органической энергии, как мы объяснили их

выше.

Незначительная на низших ступенях органического развития, красота возрастает по мере того, как это развитие подвигается во времени, и формы из более простых переходят в более сложные, т. е. становятся носителями высшего жизненного напряжения, большого количества органической энергии. Факт все более и более яркого проступания красоты есть столь же общий и постоянный в органическом мире, как и факт усложнения этого последнего в каждой отдельной особи и в целом строении своем (богатство органов в организме, богатство видовых, родовых и прочих форм в органическом мире). При этом замечательно, что красота, возрастая, не только становится более яркою через какой-нибудь один способ выражения, но она ищет и новых способов выразиться, потому что один становится уже недостаточен: к красоте *очертания* присоединяется красота *цвета*, в самом цвете появляется очертание; и он становится *узором* (крылья бабочек, напр.); наконец, появляется звук, сперва внешний, производимый трением одной части тела о другую (насекомые), а потом внутренний — голос; им обладают только животные с очень уже высокою сложностью организации. Эта многоформенность выражений красоты, развивающаяся параллельно с многоформенностью жизненных функций (дыхание, кровообращение, пищеварение), служит, как и она, показателем повышения органической энергии.

Три общие типа, к которым искусно сводит г. Вл. Соловьев все отдельные проявления безобразия в органическом мире<sup>1</sup>, через это сводятся к одному. Всякий раз, когда в органическом процессе, целесообразно развивающемся, мы встречаем или *остановку*, или *возвращение* к прежнему, или *раннее и недостаточное осуществление* того, что лишь в будущем может быть осуществлено в своих нормальных пределах, мы чувствуем присутствие в нем неправильного, болезненное уклонение его энергии в сторону, — и некоторое темное и неприятное ощущение овладевает нами. Сами являясь носителями органической энергии, и притом на высшей ступени ее осуществления, мы непреодолимо и безошибочно чувствуем все не так направленное в развитии этой энергии, и, повинувшись чему-то безотчетному, *отворачиваемся* при созерцании его. Смотря на природу как на вечно завывающее, мы радуемся, созерцая, как формы ее бегут вверх, мысленно поднимаемся за ними и любим их тогда, наслаждаемся ими; если же они бессильно

---

<sup>1</sup> «Преобладание материальной животности, возвращение к бесформенности, превращение высшей формы» (напр. организация лягушки и обезьяны по отношению к организации человека).



опускаются вниз, что-то враждебное против них поднимается в нас, мы оставляем их и ненавидим, не находя в себе сил даже к состраданию. Сострадание отсутствует здесь, быть может, потому, что в отвратительном мы всегда и верно угадываем присутствие чего-то смертного, относимся к нему как к временному в высшей степени; напротив, все прекрасное исполнено залогов жизни, и мы не ошибаемся, когда называем его (по соотношению с достигаемым) вечным.

## IX

Возрастая, как и сложность организации во времени, красота в каждой отдельной особи бывает не постоянно выражена с одною и тою же силою и яркостью. Две главные функции находим мы во всяком организме: питание, через которое он поддерживает себя, и размножение, через которое продолжает себя в потомство. К общему органическому процессу имеет отношение только вторая функция; через акт рождения, как мы заметили выше, проходит та скрытая нить, которая связует особь с целым органическим миром, делает ее не изолированным существом, но звеном в длинном ряде все развивающихся форм. Через этот именно акт особь, бессильно стремившаяся подняться над родительскою формой, передает стремление и способность подняться выше ее — своему порождению. Ясно, что в этом именно акте происходит поднятие органической энергии, и с ним же совпадает высшее проявление красоты в природе: в примерах, приведенных выше, повсюду отмечено, что красота форм, цветов и звуков возрастает, ко времени спаривания, продолжается все время, пока оно длится, и тотчас блекнет, когда оно проходит. И Ч. Дарвин, и г. Вл. Соловьев объясняют это тем, что она появляется в то время как средство прельщения; но если мы могли бы еще подумать это об одних выражениях красоты (например, о пении птиц), то ни в каком случае не можем допустить этого относительно других (окрашивание раковин и рыб, вырастание различных придатков, благоухание цветов, и пр.). Поэтому, правильнее всего и там, где мы могли бы заподозрить преднамеренность, видеть не что-либо произвольно создаваемое в видах достижения временной цели, но также невольное и своеобразное выражение поднявшегося жизненного напряжения. И человек поет, — и это прекрасно, и влечет к нему: но он поет не для того, *чтобы* привлечь к себе, а потому, что ему *хочется* петь, что у него пробудилась к этому способность и влечение. Так и прекрасные формы, цвета и звуки в животном мире, суть простые выражения органической энергии: они суть следствия ее поднятия, а не средство для чего-либо. Но что эти внешние выражения скрытой

энергии привлекают особей другого пола, это слишком понятно; и в них в то же время происходит поднятие жизненной энергии, и ясно, что она поднимается на встречу энергии другого пола. Акт спаривания есть момент, когда эти энергии сливаются. Как было бы ошибочно думать, что человек и лицом, и вообще физически в среднем возрасте становится прекраснее, чем в старости, только потому, что желает этого, что в это время нужна ему красота, — так ошибочно думать, что и прекрасное в органической природе возрастает, потому только, что оно нужно. Ни произвольности, ни чего-либо искусственного здесь нет.

## Х

Мужской пол вообще нужно считать главным носителем органической энергии: насколько последняя не только сохраняется, но и нарастает во времени, она содержится именно в нем. Он есть деятельный и жидущий элемент в органическом мире; и в человеке, в котором, как в высшем звене органического мира, все явления этого мира крупнее и ярче выражены, это можно видеть особенно ясно: мужчина сделал историю, женщина же всегда оставалась только его помощницею. Не только всякий исторически значительный замысел, новая идея или высокое и своеобразное чувство всегда зарождалось в мужчине, и женщина только приникала к этому, любила это и того, кто его создал; но если мы будем сравнивать и внешний, физический облик мужчины и женщины, мы без труда заметим, как разнообразен он у первого и как однообразен у другой. Женщины гораздо сходнее между собою, нежели мужчины; в них гораздо меньше индивидуальности; а уже выше было сказано, что индивидуальные черты суть именно то, в чем сказывается стремление органической энергии, живущей в данном виде, переступить его границы (разрушить родительскую форму). Таким образом, не только в духовной сфере нарастание некогда исходило из мужчины, но и в физических чертах это нарастание во времени также является только в нем или в нем главным образом. Отсюда — автономность в мужчине, некоторая отделенность его, которому — расти только вперед; и связанность женщины, ее слитность с мужчиною, и любовь — как высшая красота ее в истории и совершенное удовлетворение. Все особенности мужского характера, его духовной личности и его роли в истории, объясняются из одного: из того, что он есть носитель целей своего рода; и все особенности женщины, над которыми столько задумывались: ее незначущая роль в истории и особенные светлые и высокие черты ее души — все это вытекает из того, что она не носит в себе никаких автономно ей принадлежащих целей. Ее вечная и единственная цель —

стать *усвоенною, послужить*, сделаться *орудием* обнаружения того, о чем она имеет только смутное представление и более ясного не ищет; — потому что единственное понятие, ей необходимое во всей ясности, есть то, что она *служит, способствует* чему-то.

По этой же причине — если мы вновь возвратимся к органическому миру — особи мужского пола являются в нем деятельными в момент спаривания, а особи женского пола — пассивными: именно первые ищут продолжить свой род, в них именно органическая энергия, вечно стремящаяся разрушить родительскую форму в детской, ищет быть переданною потомству. И они же, как это замечают все натуралисты, в момент спаривания приобретают особенно прекрасные формы; самки же остаются таковыми, какими были, или изменяются очень мало. Красота очертаний, цветов и звуков, о которой мы утверждаем, что она есть преобразенная органическая энергия, нарастает у того именно пола, который есть носитель нарастающего в этой энергии.

Таким образом, в мире животном и растительном красота форм, цветов, звуков, нарастая:

- 1) По мере возрастания сложности организации,
- 2) к моменту спаривания,
- 3) у *пола, деятельно спаривающегося*, — одинаково является там, где пульс *биения* органической жизни повышается, где *tonus* пульсации особенно напряжен. Мы объясняем — где эта пульсация восходит, где жизненная волна всплескивается к некоторому высшему своему завершению, подобно океаническим водам, которые немного, но постоянно поднимаются навстречу тянущему их к себе небесному светилу. Только это тяготение органического мира построено не по законам пространства, но по законам времени.

## XI

Взгляд на источник красоты в органическом мире, изложенный нами, совпадает, таким образом, со всеми фактами ее частных проявлений: тогда как Дарвиново объяснение во всех же частностях, с этими фактами расходится. Прекрасное в живой природе есть отблеск радости об этой носимой в ней жизни, как отвратительное в ней есть содрогание от приближающейся смерти. Самую же жизнь мы рассматриваем как достижение органическими формами, эту одушевленную материей, вечного источника своего, который, оставаясь в бесконечной дали, некогда затеплил искру этого особенного существования на холодной земле, и чем далее проходило время — она все разгоралась на ней, вбирая в себя безжизненные элементы, которые лежали вокруг, и пре-

ображая их в формы все более живые и все более прекрасные по мере того, как великий источник жизни становился ближе. Вот почему так напрасно ищут *начала* органической жизни: оно не в прошедшем, а в будущем, оно наступит, и его нужно ожидать, а там, где его ищут обыкновенно — лежит только его конец. Он теряется в безжизненной неорганической природе; и где, в каком месте, в какое время она впервые и незаметно шевельнулась под действием безгранично далекого луча, на нее павшего, шевельнулась как никогда раньше и по совершенно особенным законам, связь с которыми никогда уже не утратила потом — этого напрасно искать.

Проявление красоты в органической природе отмечено одною особенностью, которая удобно может послужить переходом к рассмотрению прекрасного в самом человеке. Именно — замечено, что раз она выражена в чем-нибудь одном, она уже не выражается в другом: так, птицы с красивым оперением не обладают даром пения, а имеющие этот дар — дурно окрашены — явление, совершенно необъяснимое с точки зрения Дарвина и понятное при том взгляде на красоту, какой мы установили выше. И в самом деле, если всякая красота является потому, что она *нужна, полезна* для своего обладателя, то почему одному виду красоты не прибавляться к другому, почему с улучшением оперения не возрастать и звонкости голоса? Если переживать своих соперников должны особи, наилучше приспособленные к привлечению самок, то их особенно должны переживать те, у которых к одному виду красоты начинает присоединяться и другой. Таким образом, многоформность прекрасного в одном индивидууме должна бы встречаться особенно часто. И, между тем, мы ее не находим. Напротив, — мы переходим к своему объяснению — раз органическая энергия нашла себе выражение в чем-либо, если она вылилась в одну определенную форму красоты, ее не останется уже для создания еще и другой формы, потому что на каждой ступени органического мира, во всяком отдельном виде животного или растения, эта энергия находится в постоянном определенном количестве; и она может возрасти только на следующей его ступени, в дальнейшей фазе его развития.

Мы повсюду говорили о красоте организмов, тогда как следовало бы говорить только об их *красивости*. Есть что-то бездушное, как бы не живое в этой красоте — по крайней мере с точки зрения человека, который так высоко стоит над органическим миром, так безмерно богат жизнью сравнительно с ним. Фигура, очертания, оттенок краски, переливы голоса — все это так бедно, так грубо механично по сравнению с тем неуловимым, что, созерцая свой собственный мир, человек при-  
вык соединять с понятием «красоты». Только по снисхождению он

может прилагать это высокое слово к окружающей его природе, которая стоит ниже его; с правом же может говорить так о себе одном только. Во всем мироздании он один истинно прекрасен — и в образе лица своего, и особенно в образах того, что создает.

Есть одно основание, и оно именно заключается в способах проявления красоты, которое побуждает нас думать, что органический процесс уже получил свое завершение в человеке; и что скрытая целесообразность, двигавшая развитие столько тысячелетий, направлялась к созданию его внешних черт и его духа. И в том смысле, в каком можно достигнутую цель называть причиной своих средств, хотя они существуют и ранее ее, — можно и человека считать истинною причиной всей органической природы; *он* создал ее, и создал именно безусловно некоторой красоты, в нем скрытой, но пока лишь мерцающей сквозь темную оболочку его тела и всего грубого, что с нею связано.

Уже раньше нами замечено было, что в исследовании этой трудной и загадочной области доказательства в обычном смысле не приложимы, и все, чего мы можем достигнуть здесь — это хотя слабого рассеяния сумрака, который окутывает эту область, с помощью разных аналогий и сближений. Строго воздерживаясь придавать им настоящую доказательную силу, мы укажем здесь на некоторые из этих аналогий, подтверждающие мысль о завершенности органического мира, только что высказанную нами.

Что в красоте обнаруживается органическая энергия — это оправдывается всеми фактами, удостоверяющими нас, что повышения первой всегда совпадают с повышениями второй. С не меньшею твердостью мы можем думать, что сама органическая энергия есть не иное что, как сила целесообразности, движущей различие органических форм: ибо во времени эта энергия является нарастающею, а нарастание присуще только целесообразным процессам. Наконец, и соображения, и наблюдение фактов показывают, что формы проявления красоты не неопределенно разнообразны, но что они связаны между собою, и связь эта обнаруживается в том, что всякий раз, когда данное количество энергии выражено уже в одном виде красоты, оно не ищет выразиться еще в другом; то есть, этот последний (другой вид красоты) не проявляется, отсутствует.

Теперь, держа, в мысли эти объяснения, обратимся к рассмотрению фактов, представляемых красотою человека.

## ХII

Как известно, род человеческий распадается на несколько рас, из

которых четыре цветных и одна белая. Между первыми одна — монгольская — очень близко подходит к белой расе; она едва может быть названа цветною, тогда как остальные три имеют цвет резко выраженный (американская, негрская и малайская).

Было предметом многих соображений взаимное отношение этих рас; различие их настолько резко, что являлся даже вопрос об единстве человеческого рода, высказывалась мысль о независимом происхождении отдельных рас. Не видели промежуточного, соединительного звена между ними, и не могли представить способа, каким одна раса могла бы произойти от другой.

Но этих промежуточных звеньев напрасно искали и в пластах земли для органических форм. Их не нашли; и никаким оправданием для этого не может служить довод, что искали еще не достаточно, и в будущем может быть найдено то, что неотыскано до сих пор. Потому что, если промежуточные формы суть те, которые еще не доросли до видовой или уже переросли ее (для образования нового вида), и все это движение совершалось *без каких-либо резких переходов*, путем только *медленного накопления индивидуальна отличий*, то ясно, что *переходных* между видами *форм должно быть* неизмеримо больше, *нежели чистых* видовых *форм* и последние суть только моменты в развитии органического мира; первые же представляют собою обычную, постоянную форму его существования. Время, в которое *образуется* вид, продолжительнее, нежели то время, в котором он *пребывает* неподвижно; а следовательно и нарождаемых им особей в переходном состоянии более, чем нарождаемых в чистом, и первые должны бы находиться повсюду и часто, а вторые лишь иногда и в редких местах. Их численное отношение можно сравнить с отношением суточных колебаний магнитной стрелки к ее вековым возмущениям, которые образуются через медленное нарастание неправильностей в первых: или еще — это отношение можно сравнить с положением часовой стрелки, которая только 24 раза в сутки совпадает с крупными, большими делениями круга (показывает часы) и все остальное время, целые тысячи моментов, находится *вне их в промежуточных, соединяющих* точках. И также редки и удивительны должны бы быть чистые, *не* промежуточные формы, находимые на земле, как вообще редки и удивляют нас случаи, когда, войдя в комнату и видя на стене циферблат часов, мы замечаем, что стрелки их, минутная и часовая, точно указывают *целый* исполнившийся, в эту минуту отбиваемый молоточком механизма, час. Поэтому, если переходных форм нигде не находится, то это может происходить только от того, что их вовсе никогда и не было. И в самом деле, кроме этого предполагаемого способа возникновения органиче-

ских форм путем сложения незаметных индивидуальных изменений, которые полезны особи в ее борьбе за существование с другими себе подобными (теория Дарвина), — есть еще другой способ, и он наблюдался уже в исторические времена. Под воздействием сил, природа которых еще не разгадана, иногда появляется у какой-нибудь особи известного определенного вида потомство с новым признаком, настолько крупным и резко выраженным, что, руководствуясь обычными приемами классификации, мы должны принять его за новый вид или за новую разновидность<sup>1</sup>. И, однажды возникнув, этот признак передается дальнейшему потомству, удерживается в нем как постоянное видовое отличие, а не как индивидуальное, которое всегда то появляется, то исчезает. Таким образом, виды не *происходят* медленно: это — предположение, которое не оправдано ни одним фактом; они *рождаются*, и это — уже факт, который нуждается только в объясняющей теории.

Не иной какой-нибудь способ должны мы предполагать и для происхождения человеческих рас — хотя бы уже по тому одному, что он всегда останется только предположением, этот же имеет под собою факты. Мы можем с большою вероятностью думать, что от одной первоначальной расы произошли все остальные; или точнее, что предки каждой высшей расы были порождены когда-нибудь в среде низшей расы. И действительно, если за отличительную черту рас принимать, как это установлено, цвет кожи, то мы увидим, что отношения этого цвета у отдельных рас могут быть рассматриваемы, как отношения степеней: так, напр., красный и желтый цвет рас американской и монгольской есть лишь ступени перехода темного цвета в белый.

Которую из всех рас, в таком случае, нужно принимать за первоначальную? Многие соображения заставляют думать, что таковою была *темная* раса, населяющая и теперь внутреннюю часть материка Австралии. Ее считают за переходную ступень от негров к малайцам (отсюда их название «негритосы», впрочем не единственное), но правильнее считать их за исходную точку образования и первых, и вторых.

---

<sup>1</sup> В книге Н.Я. Данилевского: «Дарвинизм, критическое исследование». Спб. 1885, т. I, с. 374—449, собраны тщательно все факты образования новых растительных и животных пород этим путем. Самый резкий, но вовсе не единственный пример этого образования представляет собою однолистная земляника, *Fragaria monophylla*, которая родилась непосредственно от обыкновенной трехлистной и продолжала затем воспроизводиться из семян первой, то есть изменение коснулось основной, воспроизводящей функции организма. Дюшен, который первый наблюдал это любопытное явление в 1761 году, в живых словах описывает свое изумление. «Как смотреть на нее? — спросил я себя при виде новой формы так хорошо известного растения. — Вид ли это? Но тогда ведь происходят новые виды! Разновидность ли это только? Сколько же тогда в других родах разновидностей, которые принимают за виды?» (стр. 407).

Грязный цвет кожи их представляет что-то колеблющееся между черным цветом негров и коричневым малайцев. Из всех человеческих рас они стоят на самой низшей ступени развития — не знают не только религии и государства, хотя бы на первоначальной ступени общины, поселка, но не знают даже и постоянного жилища, равно как мало нуждаются в огне для приготовления себе пищи. Несмотря на все усилия миссионеров, они не оказывают никакой способности к принятию христианства, равно как и к усвоению вообще каких-либо начатков цивилизации. Любопытно в высшей степени, что место географического распространения их — Австралия, есть одинаково и место нахождения самых архаических форм растений и животных. Путешествующий по лесам и лугам Австралии видит вокруг себя как бы воскресший мир некогда живых существ, который он знал лишь по палеонтологическим коллекциям и о котором ничто уже более не напоминает в окружающей действительности других материков. Нет полного сходства между ними, но есть близость, которой мы напрасно стали бы искать где-нибудь в другом месте на земном шаре. К сожалению, о происхождении материков мы ничего достоверного не знаем, но мы можем догадываться, что есть скрытые законы и силы, которые вызвали их из-под океана, и что это совершилось не без строгого, определенного порядка в возникновении их. На это указывает строгая, во всем выдержанная аналогия во внешних очертаниях и внутреннем строении всех материковых масс южного полушария, и всех — северного, при различии до противоположности между собою первых и вторых<sup>1</sup>. С этим порядком возникновения материков, вероятно, связаны

---

<sup>1</sup> Суша земного шара состоит из трех больших масс: 1) Американского материка, 2) Австралийско-Азийского материка и 3) Африканского материка. В первом вся масса земли сосредоточена или как бы сформирована в два члена — северный и южный (Северная Америка и Южная), которые развиты приблизительно одинаково, то есть почти одинаковой величины; их расположение, как бы координирующая их ось, тянется с С. З. С. на Ю. В. Ю.; соединены они между собою лишь очень узкою лентой земли (Панамский перешеек). Южный член имеет вид несколько вытянутого по меридиану треугольника, с выпуклою восточною окраиною и вдавленною западною стороною; на его северной стороне (восточнее соединяющего перешейка) мы наблюдаем зачаточное образование залива, почти единственного у его берегов. Северный член той же материковой массы представляет собою как бы фигуру распускающегося цветка, — он расширяется, поднимаясь к северу, и расчленяется (полуострова); масса гор, при этом, сосредоточена к с. з. от перешейка, ближе к нему, нежели к северному краю, но в общем имеет центральное положение в противоположность краевому; какое имеют горы южного члена. Занимательно, что все эти особенности повторяются в Австралийско-Азийской массе суши (включая в нее Европу — только ушедшую вдаль (и очень развитую с. з. оконечность Азии); но только на ней чрезвычайно же развит южный член (Австралия) и чрезвычайно не развит северный (Азия и Европа): то же здесь направление с Ю. В. Ю. на С. З. С., та же



как-нибудь и формы организмов, их населяющих. Во всяком случае, как ни темна для нас причина факта, самый факт — архаичность флоры и фауны материка Австралии — остается несомненным. И этому соответствует то, что и человеческая раса, здесь обитающая, стоит на низшей ступени развития сравнительно со всеми другими человеческими племенами, и если за общую форму, через которую проходит жизнь человечества, принять совершенствование, приближение к лучшему с течением времени, то и австралийскую расу, как ее флору и фауну, мы должны принять за наиболее древнюю из всех.

### ХIII

Дальнейшие аналогии все подтверждают эту гипотезу, но чтобы сделать понятными их, мы должны остановиться несколько на одном глубоком и очень общем законе природы, происхождение и способ действия которого до сих пор не разгаданы, но который был признан человеком уже в древности: мы говорим о законе полярности. В Пифагорейской школе впервые высказано было мнение о том, что все части Космоса разлагаются на противоположности; и это же соединение противоположностей и распадение всякого единства опять на противоположности составляло сущность учения Гераклита, мыслями которого была так заинтересована новейшая философия, в лице особенно Гегеля и некоторых его учеников. Диалектический метод этого

---

лента полуостровов (Индо-Китай и Малакка) и островов (Зондские), представляющих разорванный мост, некогда соединяющий оба члена; та же фигура треугольника, выпуклого к востоку, вдавленного с запада — у южного члена (Австралия с Тасманией) и даже тот же, но чрезвычайно развитый залив на северном берегу (Карпентария). В северном члене — та же фигура раскрывающейся чашечки цветка, с бесконечно раздавшимся северным краем и суживающейся в воронку южной частью, с расположением главных горных масс к С. З. от разрушенного перешейка (Гималаи и Тибет), ближе к южному краю, чем к северному. Перейдя к третьей массе — Африке, мы видим, что в ней выражен собственно южный член какой-то материковой массы, но ему недостает северного; и, судя по тому, что в Америке оба члена почти одинаковы, а в Австралийско-Азийской массе развит северный член и не развит южный член, около которого северный член малый, неразвитый — исчез. Этот исчезнувший, недостающий материк есть древняя Атлантида, лежавшая к западу от Гибралтарского пролива, память о которой хранилась еще во времена Платона и след которой сохраняется и до сих пор в группах Канарских и Азорских островов. По крайней мере, один взгляд на Африку убеждает нас в полной аналогии ее фигуры с фигурой Австралии и Ю. Америки: выпуклость на востоке (Абиссиния с м. Гвардафуй) и выемка на западе (Гвинейский залив), выемка между заливами Габеш и Сидра на севере, краевое расположение гор. Едва ли одной случайности, без действия какого-либо скрытого закона, можно приписать эту выдержанную симметричность, аналогию, параллелизм в формах и расположении материков.

германского мыслителя есть также не что иное, как теория развития логического понятия и с ним всего мирового процесса, посредством чередующихся между собою утверждений и отрицаний, соединений и разложений. Мы только напоминаем эти учения, и делаем это для того, чтобы дальнейшие указания наши не показались чем-либо новым и произвольным. Доверяясь только простому и строгому наблюдению и оставляя в стороне все сомнительное, мы не можем не заметить, что, по крайней мере, *некоторая часть* природы как будто действительно подчинена этому великому закону. Так, если мы будем рассматривать строение организмов, мы увидим, что симметрия их зависит от того, что многие важнейшие органы их двойственны и противоположны (напр. два легких, две почки, два полушария головного мозга, далее — конечности и органы высших чувств: зрения, слуха и обоняния — двойные); и если в других органах двойственность и противоположность не бросается так резко в глаза, то лишь потому, что она закрыта, замаскирована, или своеобразно выражена. Но мы ограничиваемся указанием только грубого и общеизвестного, и не будем отвлекаться рассмотрением более тонких черт органического сложения. В исторической жизни народов, которая служит как бы другим полюсом по отношению к организации животного тела, так неизмеримо отходя от нее и все-таки, в конце концов, имея ее свою исходную точкой, мы также можем наблюдать это развитие противоположностей: с противоположными характерами являются в ней великие расы (напр. монгольская и кавказская), и в каждой расе противоположными являются отдельные моменты ее духовного развития (напр. античная цивилизация и христианская, или в последней — средние века и новое время; так же: эпикуреизм и стоицизм, материализм и идеализм, методы умозрительные и опытные, и пр.).

Этих кратких указаний будет достаточно, чтобы объяснить нашу мысль: некоторая часть явлений природы, развиваясь в потоке времен, разлагается на части не просто различные между собою, но противоположные. В этом процессе собственно непонятным является только первый момент: выделение первой особенности; потому что, раз она выделилась, выделение ей противоположного становится уже необходимым: оно одно остается в том существе или явлении, которое послужило исходным моментом начинающихся развиваться противоположностей и в котором они все содержались уже от начала, но только в неразделенном, связанном состоянии, смешиваясь между собою и через это взаимно ограничиваясь. Подобно тому, как если бы в каком-нибудь объеме пространства, занимаемом разреженной материей, эта последняя собралась в одном месте и сжалась до абсолютной плотности,

то другие части взятого объема пространства стали бы абсолютно пустыми, и даже в самом процессе этого собирания материи каждый момент уплотнения сопровождался бы, как своим необходимым следствием, моментом разрежения в другом месте; уплотнение же и разрежение суть явления противоположные. Можно предполагать, что все подобные процессы начинаются в природе от того, что в ней все, каждая часть, стремится к самоутверждению, к полноте и твердости бытия своего, и потому силится освободиться от связывающей близости другого, очиститься от всего постороннего и, следовательно, уединиться; а через это уединяется в себе и другое.

#### XIV

Если мы допустим возможность действия этого закона в развитии человеческих рас, то появление каждой из них с отличительными особенностями своими станет для нас понятно. Мы обращаемся опять к исходной расе — австралийской. Грязный цвет ее кожи, не совершенно черной и не совершенно белой, раз должно было совершиться в ней развитие — должен был, по закону полярности, разложиться на совершенно черный и на совершенно белый; то есть, образование негритянской и кавказской рас содержалось в возможности уже в австралийской; подобно тому как плотное и пустое содержится в возможности во всякой степени сгущения или разделения. Из этих двух противоположных рас большая одаренность в духовном отношении должна была стать уделом белой, черная же не могла обладать высокими способностями, и это потому, что если одухотворенность есть то, что поднимает человечество над органическим миром, то она должна появиться там, где грубые черты органического мира становятся наиболее бледными, где они стираются и исчезают. Эта грубая, внешняя черта органического мира есть именно его окрашенность, в которой так механично, так несовершенно выражается его краснота. И если в человечестве эта краснота должна была перейти когда-нибудь в настоящую красоту, если она должна была одухотвориться, то для этого прежде всего ей необходимо было удалиться от грубо механических знаков в выражении себя: исчезновение какого-либо определенного цвета должно было предшествовать проявлению одухотворенности в человечестве. Но высшая ступень развития всегда достигается с большим трудом, нежели низшая, и вот почему негритянская или черная раса выделилась из австралийской без каких-либо промежуточных ступеней, соединительных звеньев, тогда как образованию кавказской расы предшествовало образование малайской, американской и мон-

гольской: через них только, как предварительные ступени, медленно, путем нескольких внутренних усилий австралийская раса поднялась до белой. Но в высшей степени замечательно, что уже первая ступень на пути к образованно белой расы как бы предваряет в себе ее высшие способности, и даже с такою отличительною особенностью, которая ярко указывает на ее переходный характер, определяет ее именно как ступень к какому-то поднятию. И в самом деле, негритянская раса хотя гораздо способнее австралийской, но имеет в этой способности своей, в этой относительной даровитости, нечто замкнутое, неподвижное: видно, что какой-то процесс развития, ее вызвавший, в ней закончился, заключился, замкнулся. Черный цвет этой расы есть действительно уже полюс, который не может быть переступлен далее, и следовательно от негритянской расы никогда не произойдут еще какие-либо новые народы, сколько-нибудь от нее отличные<sup>1</sup>; она может размножаться внутри себя, и этим увеличиваться, расширяться, но не может ни во что перейти, измениться — ей чуждо развитие, как пределу. Поэтому — если негры и способны, то так, как они и всегда были способны; отсутствие *развития и какого-либо внутреннего стремления к нему* есть отличительная черта их, — и этим объясняется, почему, зная уже ремесла и заведя торговлю, живя обширными племенами, ведущими между собою войны, они однако нигде не замкнулись в правильное, организованное государство и нигде не начали истории. Они могут становиться лучше, когда их делают таковыми другие народы; они принимают воздействия, налагаемые извне; но внутренне остаются при этом пассивными. Так, в Западной Африке и в центральной Америке, они приняли государственную жизнь, в которую их устроили европейцы, но приняв ее — остаются в ней неподвижно, не улучшают ее, вообще не изменяют и даже не ухудшают, что все-таки, хотя отрицательно, свидетельствовало бы о внутренней жизни этой расы, о способности ее к самоизменению и, следовательно, к истории. Напротив, малайская раса, в коричневом цвете которой впервые проступает стремление к белому, хотя также не образовала у себя государств, но выказывает гораздо более внутренней жизненности, деятельного отношения к внешним развивающим влияниям. Самое отсутствие государственной жизни у малайского племени легко объясняется тем, что, будучи рассеяно на островах Великого и Индийского океанов, оно имело менее внешних причин к начатию этой жизни; потому что пле-

---

<sup>1</sup> Едва ли нужно оговаривать, что мулаты, произошедшие от смешения негров с белыми в Америке, вовсе не составляют какой-нибудь ступени в развитии первых. Это — смешение, внешнее развитие одного из них в какую-либо высшую форму: последняя должна быть порождена путем скрытого органического усилия в пределах одной расы.

менные столкновения из-за обладания землей и происходящие отсюда войны есть самая частая причина возникновения государств, как некоторой организации племени, при которой оно становится сильнее и может одержать победу в борьбе с соседним народом. Но и помимо отсутствия этих внешних причин, если бы даже при благоприятных обстоятельствах у малайцев не появилось государственной жизни — это было бы слишком понятно ввиду близости их к австралийской расе, на пути развития которой в белую они составляют только первую ступень. Но что они являются только ступенью, что в них процесс какого-то развития не замыкается, это видно из того, как много в их психическом складе внутреннего напряжения, как они только ожидают внешнего воздействия, чтобы нарушить свое неподвижное состояние и выступить на путь самоизменения. При одинаковости исходного первоначального состояния, это и является в них отличительной чертой при сравнении с неграми. Они гораздо более, нежели эти последние, восприимчивы к христианству, и замечательно, что усваивают не внешнюю только сторону его, но, и внутреннюю, духовную: становятся кроткими и человеколюбивыми под его воздействием и даже выделяют уже из собственной своей среды пасторов и миссионеров. Также и к обучению они высказывают живую склонность и способности, равно как и в усвоении других элементов цивилизации являются не пассивными, но деятельными: так они не только дозволяют торговать у себя европейцам, не только отвечают на их спрос или предложение, но, раз поняв, что такое торговля, они поняли и что дает она, повезли в далекие страны свои произведения и поехали за чужими сами. Вторую ступенью в развитии австралийской расы нужно признать американскую: в красном цвете ее кожи мы видим исчезнувшими остатки темного, который находим еще в коричневом цвете малайцев; напротив, светлый отлив кожи кавказских народов в нем проступает ясно. Соответственно этому и духовное развитие американской расы поднимается еще на высшую ступень сравнительно с духовными способностями малайского племени: она уже образовала два государства, Мексику и Перу, которые были разрушены в XVI в. испанцами. В высшей степени замечательно, что филологические исследования наречий, на которых говорят краснокожие Северной Америки, обнаруживают все признаки вырождения, а не развития; откуда можно заключить, что и самые племена эти находятся в периоде упадка, разложения. Они суть единственные из американской расы, которые, будучи многочисленны и широко разделены, вместе с тем не имеют государственной жизни и вообще сколько-нибудь высокой цивилизации; об этой последней мы можем думать, на основании исследований их языка, что она *была* не-

когда в Северной Америке, и потом погибла. Во всяком случае, и внешние физические черты, и духовные способности, выразившиеся в создании государственной жизни, хотя и в высшей степени своеобразной и слабой, указывают на положение американской расы между малайскою и монгольскою.

## XV

В таком случае нужно думать, что не из Азии Америка была заселена, но из Америки — Азия, и древнейшие племена этой последней обитают на северо-восточном ее углу. Где-то около Берингова моря произошло то внутреннее органическое напряжение в недрах американской расы, которым были порождены предки нынешней монгольской. В желтом цвете этой последней почти исчезли всякие следы первоначального темного цвета; их не видно уже совершенно, и с тем вместе желтый цвет есть промежуточный между красным и белым. Если от физических черт мы обратимся к духовным, мы и здесь увидим, что монголы по времени своего происхождения должны предшествовать кавказской расе. В лице китайцев и японцев они имеют уже историю, хотя не столь разнообразную, богатую и глубокую, как можно было бы ожидать, принимая во внимание ее чрезвычайную продолжительность. Есть что-то неподвижное в этой истории; ей недостает богатой внутренней жизненности, нет энергии и свободы в ее явлениях; она так же несовершенна, бледна и механична в сравнении с историей народов кавказского племени, как бледна и несовершенна китайская живопись, если сравнить ее с итальянскою или фламандскою. Эта же бедность и безжизненность видна и во всех сферах китайского творчества. Их религия есть странная смесь мудрости, практичности, нравственных правил и космогонических представлений, в которой мы напрасно искали бы каких-нибудь порывов религиозного энтузиазма, живых тревог совести или высшего просветления. В ней, как и в науке, и в литературе китайцев, мы можем многому удивляться, но ничему восторгаться. Как будто внутренний духовный огонь никогда не загорался в этой расе, и нет ничего в ней или в ее созданиях, что могло бы взволновать нас, растрогать, неудержимо повлечь к себе или очаровать собою. Мы смотрим на этот странный народ и его странные создания, как на какой-то удивительный автомат, происхождения которого не знаем и который превосходит своим совершенством все другие, нам известные, но, как и они, остается для нас чем-то совершенно чуждым и посторонним; какая-то не переступаемая грань отделяет наш внутренний мир от тех скрытых пружин, которые его движут и направляют и

которые так не похожи на то, что движет нас. Наш слух может заинтересоваться китайской музыкой, наше зрение — их живописью и произведениями их ремесел, наконец, даже ум — их учреждениями и понятиями; но дальше этого внешнего любопытства мы не можем идти: у нас нет способности перейти границу, отделяющую их душу от нашей. Ни одного звука нет у этого народа, ни одной линии он не создал, ни одного слова не высказал — которые проникли бы в самую глубину нашей души, тронули бы сокровенные ее стороны и заставили их звучать ответным звуком себе. И подобно тому, как самый искусный механизм беден сравнительно с самым простым живым существом, так и китайская цивилизация, несмотря на то, что даже образованные классы европейских народов могут многому научиться из нее, многое заимствовать с пользой — в сущности скудна в сравнении даже с тем, чем духовно живут простые, необразованные классы наши. Простой напев нашего крестьянина заключает в себе гораздо более поэзии, нежели вся вычурная китайская литература; горячая, хотя бы и бессвязная молитва какого-нибудь юридического — более носит в себе чистой религиозности, нежели все книги Конфуция. Эти примеры всего лучше могут объяснить, чего именно недостает монгольской расе: истинной и глубокой человечности, всей той красоты, игривости, свободы, которою запечатлена раса белая.

## XVI

Мы находим в ней, однако, одну черту, которая совершенно отсутствует во всех ранее возникших расах и, впервые появляясь здесь, становится уже постоянною затем в кавказской расе. Именно, закон полярности, который ранее действием своим создавал только отдельные расы, и, выделив каждую из них, уже не действовал внутри ее и не разлагал ее жизнь или историю на противоположности — впервые обнаруживает свое действие внутри монгольской расы. Негритянская, малайская и американская расы суть отдельные и совершенно цельные члены человечества, внутри которых мы не находим другой разновидности, кроме той, которая обусловлена широтой географического расселения их (например, отдельные государства Мексика и Перу) или особым влиянием той или иной местности (совершенная дикость одних, некоторая развитость других). Отсюда — единство в их жизни, общность явлений, которые мы наблюдаем в ней, отсутствие какого-либо разнообразия в быте или какой-нибудь индивидуальности в характерах, отсюда же — отсутствие у них истории, как появления различий во времени. Окружающая природа, вечно та же в каждой отдельной

стране, наложила на них печать свою, и не имея внутренних стимулов развития, они тысячелетия несут на себе эту печать. Эта черта общности и постоянства впервые нарушается в монгольской расе. Однородная по происхождению, без каких-либо внешних отличительных особенностей на всем протяжении своего географического распределения, она является в истории с характером не только непостоянным всегда и повсюду, но, напротив, с диаметрально противоположным. Если Китай и Япония<sup>1</sup>, относящиеся между собою как не одинаковые фазы одинакового развития, как две ступени одной и той же лестницы, мы выделим из монгольской расы и соединим в одну группу, то увидим, что в пределах этой расы остается еще ряд народностей, также сходных между собою и потому сливающихся в одну группу, но уже настолько различную по своим психическим особенностям и исторической роли от китайцев и японцев, что всякая попытка соединить их в одно, обобщить в один тип — была бы напрасна. Историческая роль этой второй группы монгольских народов соединена с именами Чингисхана, Тимура и других многих подобных, но меньших, о делах которых не нужно напоминать, хотя они и не оставили после себя следов. Их назвали «народами-разрушителями», и история до сих пор стоит перед их странною, загадочною деятельностью, бессильная произнести в объяснение ее хотя бы одно слово. В некоторые моменты исторической жизни — не их, потому что они не имеют истории, но других народов — эти племена поднимались без всяких видимых причин или, по крайней мере, без таких причин, которые по своей значительности хотя сколько-нибудь отвечали бы значительности своих следствий; и, поднявшись, проходили разрушительным ураганом по жизни своих народов и, точно выполнив какое-то назначение, снова упали в прежнее ничтожество и безвестность, — до другого поднятия, всегда столь же беспричинного, столь же губительного для других народов и столь же бесплодного, ненужного для них самих. Если бы в поднятиях этих была какая-нибудь последовательность, если бы им присуще было какое-нибудь развитие или хоть простая периодичность, они все-таки представляли бы собою нечто положительное, они слагались бы в историю, хотя и историю разрушения. Правда, подобной последовательности не вынесли бы другие народы, и история всех их возможна только потому, что одна половина монгольского племени не имеет истории, ее

---

<sup>1</sup> Все сказанное ниже об Японии как будто опровергается последними успехами Японии в делах мира и брани; но эти успехи еще так новы, так мало длительны, а главное, так мало текут из оригинальных, расовых данных японского племени и обусловлены только успешностью технических заимствований, что, до времени по крайней мере, их можно обходить молчанием.



жизнь не образует собою развития. Но — и в этом лежит глубочайшая выдержанность психического склада рассматриваемых племен — все, что походило бы на какую-нибудь закономерность или правильность, отсутствует в их исторической деятельности. Они вполне отрицательны, потому что нет ничего утвердительного и постоянного в самой их отрицательности. Даже и разрушения они не созидают, они только время от времени производят его, строгие и последовательные только в одном — в полной хаотичности явлений своей жизни.

Мы сказали, что внешних причин для их характерной и странной деятельности нет, и никакого объяснения их исторической роли не существует. А между тем, если мы обратимся к закону полярности, мы видим, что эта деятельность их и роль принудительно обусловлены уже в характере их соплеменников — другой, южной половины монгольской расы. Сравнивая деятельность этих племен с деятельностью других народов, например кавказской расы, мы найдем в той и другой только различие, но не найдем противоположности. Разрушение входит составною частью в жизнь всех народов, и каждый из них растет и развивается, только разрушая или тесня жизнь других народов. Но только это явление в их истории не изолировано и не очищено, оно смешано с другими разнообразными явлениями, частью просто различными, частью противоположными, и поэтому умеряется ими или закрывается, делается незаметным. Только один есть народ в истории, который не просто отличен от этих племен-разрушителей, но противоположен им по своему психическому складу и по всему смыслу своей истории — это китайцы и японцы, первая великая ветвь монгольской расы. И в самом деле, как первые племена получили название «разрушителей», так эти народы должны бы быть названы «созидателями» — созидателями по преимуществу и в большой степени по чистоте, нежели народы какой-либо другой расы, в том числе и кавказской. Их трудолюбие так велико, что, как ни превзошли их европейцы во всех других отношениях, в этом одном они могут служить для них недосыгаемым образцом, и их миролюбие столь исключительно, что даже для защиты себя, своего вечного и неустанного труда, они не могли придумать ничего другого, как только отгородиться «Великою стеной» от народов, которые могли помешать им. Если мы всмотримся глубже в самый характер их труда, мы найдем в нем поразительное соответствие с характером разрушения у северных монголов: как там под жадной разрушить не скрывается ничего — никакой особенной ненависти или вражды к разрушаемому, ни даже — простого знания его; так здесь под зиждущею деятельностью не лежит никакого сложного и глубокого внутреннего мира, который бы неудержимо искал выразиться в

чем-либо внешнем. Отсюда — отсутствие жизненности во всем их творчестве: литература без поэзии, живопись без красоты, самая наука — без мудрости и пытливости. Как будто и рисование они начали потому, что, найдя красящие вещества, нашли для них и способ употребления и с тем вместе — новую форму труда, к которой сейчас же прильнули, хотя и не понимали, куда она ведет, что достигнуто ею у других народов; и создали литературные произведения потому, что из всех способов употребления человеческого слова — нашли и этот новый: не только рассказывать о действительном, но и о том, чего нет, но что могло бы быть действительным; и, наконец, начали заниматься наукой потому, что их органы чувств требовали большего упражнения, нежели какое могли им доставить простые и непосредственные отношения к окружающему. Вот почему, как уже давно замечено, сделав многие изобретения, какие сделаны и европейцами, они не извлекли из них всех тех результатов, какие извлекли последние. Найдя их случайно, как можно думать, они увидели в них только новую сферу труда — возможность бесконечных повторений, но они не вдумывались в них и не искали еще чего-нибудь за ними скрытого, в них прямо не выраженного. Здесь же лежит объяснение и их поразительной замкнутости, которая всегда так удивляла европейцев: лишенные глубокого внутреннего содержания, они никогда не знали этого тревожного состояния, этих мук искания, которые заставляли европейцев переходить из страны в страну, от народа к народу, никогда и ничем не удовлетворяясь, с вечным отвращением к прежнему и вечною жадной нового. Они были спокойны, всегда удовлетворены, потому что были всегда заняты. В своем труде они ничего не искали, кроме труда, и потому — ничего не нашли, или даже найдя что-нибудь случайно — не замечали найденного, равнодушно проходили мимо<sup>1</sup>. Что-нибудь похожее на далекий замысел никогда не руководило их действиями; они не знали ни увлечений, ни разочарований, ни истинной радости, ни другого страдания, кроме простой боли. Отсюда — тот характер практичности и рассудочности, который с удивлением замечали в китайцах все проницательные наблюдатели. Погруженные в труд, за которым не скрывалось никакого содержания, они никогда не отвлекались от него; прошедшего и будущего как бы не существует для них, они не несут из первого никакого *задатка* и ничего не осуществляют нового во втором. Они всецело погружены в действительность, и потому именно так хорошо

---

<sup>1</sup> Известно, что очень многие европейские открытия (как порох) были сделаны ранее китайцами, но не повели у них к тем огромным последствиям, к каким повели Европу, — застав, как и все у них, в первой изобретенной фазе.

все видят в ней, что им некуда больше смотреть. Все их достоинства, которым иногда столько завидуют, вытекают из одного глубокого, странного недостатка их природы: из ее внешности и формальности, из отсутствия содержания в их душе. Они не задумают ничего безумного, не рванутся к губельному, не станут возводить Вавилонской башни, чтобы достать до неба; но это от того, что и самого неба для них нет.

Отсюда вытекает то, что их деятельность, будучи столь рациональна в частностях, в целом носит на себе черты бессмысленного; все в отдельности, что ни делают они, правильно и может быть названо хорошим, но эти отдельные дела их не составляют из себя ничего общего, о чем мы также могли бы сказать, что и оно правильно и хорошо. Никакая общая мысль не соединяет и не объединяет явления их жизни, никакому высшему плану не подчинены они. Их жизнь и история распадается на множество подробностей и за каждую из них лежит своя причина, свой частный повод, находящиеся вне всякого соотношения со всякими другими поводами к каждой другой подробности. И это-то именно и делает китайскую цивилизацию, при всем любопытстве, которое возбуждает она своею внешностью, в сущности безынтесною. Она в высшей степени своеобразна, но это своеобразие заключается в том, что, будучи столь громадна, она лишена всякой связующей идеи. И если, на минуту забыв о ней, мы снова перенесемся к их северным соседям, мы пойдем их жизнь и их душевный склад, как противоположность китайского, как его отрицание. Из всех народов, обитающих на земле, только вторая ветвь монгольского племени представляет из себя настоящих кочевников, подобных которым мы не встречаем ни в Северной и Южной Америке, ни во внутренней Африке, хотя они более благоприятны для этого образа жизни, нежели северная и центральная Азия. Покой и однообразие невыносимы для этих народов, как для китайцев невыносимы разнообразие и беспокойство. Как эти последние в своей жизни и в своей деятельности подчинены инстинкту созидания, так те подчинены инстинкту разрушения — столь же темному, столь же лишенному какой-либо руководящей мысли. Только в действии закона полярности, так могущественно выразившегося в противоположности психического склада этих двух великих племен, на которые распалась обширная монгольская раса, можно найти объяснение той неустойчивости, с которою одно из них производило свои разрушения. Иначе каким образом понять, что вопреки всем нуждам, отвращаясь от всего, чем дорожит человек обычно — от покоя, от мирной жизни, от удовлетворения всех потребностей, они переходили через знойные пустыни и высокие горы, гибли на пути и в битвах, и все это без другой цели, без другого удовлетворения, кроме как видеть позади себя пи-

рамыды из человеческих голов, видеть растерзанную жизнь людей, которых они ранее не знали и не видели. Не потребность в общепринятом значении служила для этого мотивом, и не какие-либо внешние причины, какие мы привыкли отыскивать для человеческих действий. Здесь действовали силы и законы иные и высшего происхождения, понять природу и происхождение которых нам вероятно никогда не суждено, но наблюдать за внешним проявлением которых мы можем.

## XVII

То, к чему последовательно поднимались расы, что яснее и яснее мерцает в чертах их физической и духовной природы, наконец получает свое осуществление в кавказской расе: в ней является, наконец, человек во всей полноте своих сил и в совершенной красоте. Замечательно, что хотя по численности своей она неизмеримо уступает численности остальных рас человеческого рода, однако всякий раз, когда мы начинаем говорить о человечестве и пытаемся определить свойства человеческой природы — мы говорим собственно о белой расе и определяем *ее* свойства. И это не потому только, что мы сами принадлежим к ней: прием определения какого-либо существа через отвлечение общих свойств у *наибольшего* количества его представителей столь прост и так уже вошел в наши умственные привычки, что мы, несомненно, сумели бы применить его и здесь. Но даже и попытки поступать так при изучении природы человеческой никогда не было делаемо; знающие и невежественные, осторожные и легкомысленные — даже ошибкой или случайно никогда не нарушили молчаливого согласия: понимать человека так, как он выразился в кавказской расе. Хотя и молчаливо, но допускается, что скорее есть погрешности, отступления от нормы во всех других необозримых массах человечества, нежели что они есть и в белой расе, и что для выделения их нужно сравнить ее с прочими и очистить от уклонений путем мысленного отсечения всего лишнего, что окажется при этом сравнении, и путем исполнения всего недостающего. Все особенное и частное, что отличает кавказскую расу от других, не только не исключается из общего понятия «человек», но, напротив, составляет самое существенное в этом понятии; тогда как общее у нее с другими расами оставляется большею частью в стороне, как незначашее. В основе всех этих странностей метода, кажущихся неправильностей умозаключения — лежит одно глубокое, хотя и не высказанное убеждение: что человек белой расы есть норма и предел, который ни с чем другим не может быть сравниваем, и через это другое оцениваем, но, напротив, сам служит мерилом и оценкой для другого,

как бы этого другого ни было много. И действительно, во всех других расах человек есть достигаемое, и только в кавказской — достигнутое уже. Мы находим в нем все, что и в представителях других рас, и еще нечто излишнее, но притом такое, что можем открыть при внимательном исследовании и в других низших племенах, но только в зачаточном, неразвитом состоянии. И, как определение линии или круга, содержащееся в геометрии, мы никогда не станем изменять и приноравливать к смутным и сбивчивым описаниям несовершенных линий и кругов, наблюдаемых в действительности, так точно не станем мы и не хотим изменять понятие о человеке, основанное на знании белой расы, применительно к тем понятиям о нем, какие могли бы извлечь из наблюдения над остальными расами, обитающими землю.

Одухотворенность, высокое просветление природы человека как-им-то внутренним содержанием — вот самое общее и точное определение особенности, которая отличает кавказскую расу от других. В противоположность монгольской расе, в которой существенное и основное есть *деятельность* и за нею не скрывается никакого сложного и глубокого содержания, в кавказской расе основным является именно содержание, внутренняя духовная жизнь; что же касается деятельности, то она служит здесь только невольным обнаружением этого содержания, то есть является вторичным уже, вызванным и обусловленным. Как ни разнообразна и ни обильна деятельность арийцев и семитов, этих двух главных ветвей, на которые распадается кавказская раса, — она несколько не исчерпывает богатств внутренней жизни их, и отсюда-то в этой расе вечное томление духа, о котором так прекрасно говорит уже древний Экклезиаст и еще не перестают говорить самые новые поэты: вечное стремление к чему-то и всегдашнее неудовлетворение тем, что найдено. В искусствах, в науках и философии, в формах политической жизни — всем тем, что было создано этою расой в ее долгом историческом существовании, мы открываем эту общую черту: перевес духа над деятельностью, и отсюда — переход от одной деятельности к другой. Здесь лежит объяснение многоформности их искусств: что-то невыражающееся силится высказать в них ариец, и поэтому-то переходил он от линий архитектуры к тени и краскам живописи, от звуков музыки к музыкальной речи в лирике и эпосе — то беря все это изолированно, то соединяя вместе, как это мы видим в драме и опере. Отсюда вытекает то, что в науках и философии он так безгранично далеко переступил за пределы непосредственно открытого ему, — в противоположность всем другим народам, которые ничего не искали за этими пределами. Он жадно осмотрел всю землю и пытливо перечитал все, что было написано его предками, теперь уже погибшими

племенами. Не довольствуясь этим, он вскрыл глубину земли и извлек из недр океана все, что там могло скрыться от его глаз; не удовольствовался вещами и явлениями, как они дались ему в ощущениях, и, разложив первые — открыл их элементы, а наблюдая вторые и размышляя о них — открыл силы и законы, о которых ничего не говорили ему чувства. Наконец, все еще думая, что за известным ему скрывается что-то неизвестное, он придумал способ посредством удивительных инструментов почти безгранично удлинить свое зрение и безгранично же утончить его, приблизить к себе все далекое и сделать большим все малое. Здесь же, в вечно тревожном и вечно чего-то ищущем духе кавказской расы, лежит объяснение и его политических судеб, этой неустанной жажды что-то построить, создать, и создав — вечно разрушить его, чтобы начать строить снова, иначе и по другим планам.

## XVIII

Если от рассмотрения природы человека, каковую она является в высшем своем выражении — кавказской расе, мы возвратились бы опять к органическому процессу, через который, варьируя и совершенствуясь, все поднимались органические формы, — мы увидели бы, что человек есть грань и предел, где заканчивается этот процесс. Любопытно, что именно исследование явления красоты с несомненною силой убеждает нас в этом, — и та форма, которую принимает она в человеке, проливает истинный свет на природу самой органической энергии, лежащей внутри организмов и управляющей их трансформациями.

Во всех *цветных* расах человеческого рода мы находим то же отсутствие настоящей красоты и ту же простую красоту, какую находим в растениях и животных. И здесь, и там она выражается в грубых физических очертаниях, и в окрашенности, причем ни первые, ни последняя не служат средством только для выражения чего-то иного и высшего, но нравятся сами по себе, — откуда татуирование тела у диких, желание придать своей окрашенности еще и разнообразие. Напротив, у белой расы, которую справедливо было бы назвать бесцветною, эти грубые и внешние способы выражения красивого как бы меркнут и исчезают, и впервые проступает красота в своей истинной природе. Именно для того, чтобы возможно было проявиться ей, необходимо было предварительное исчезновение окрашенности, и вот почему общее духовное совершенствование в человеческих расах так замечательно совпадает с изменением цвета их, с его постепенным исчезновением.

Если мы захотим дать себе отчет, в чем именно состоит это преобразование простой красоты в красоту, то должны будем ответить, что оно заключается в проникновении духовного мира сквозь грубые черты физической природы; и в таком преобразении этой последней, что она становится способною передавать, видоизменяясь, видоизменения первого. И в самом деле, лицо человека какой-нибудь цветной расы никогда не бывает истинно-прекрасно, потому что оно никогда не бывает *выразительно*. Все тонкие переливы чувств, тихая радость или бесконечная грусть, одушевление какою-нибудь мыслью или спокойная созерцательность — все это так легко выражающееся на бесцветном лице человека кавказской расы, совершенно скрывается под неподвижными чертами коричневого, черного или желтого лица.

В способе действия на нас красивого и прекрасного заключается та разница, что тогда как первое действует исключительно на наши чувства, зрение или слух, второе действует через них на нашу *душу*. От этого первым мы только любимся — то есть испытываем наслаждение чисто внешнее; второе же созерцаем: это наслаждение внутреннее. И только потому, что красивое и прекрасное соединены между собою незаметными переходами, так что невозможно даже отметить момента, где второе уже начинает зарождаться в первом, мы считаем их различными фазами в развитии одного и того же явления. Но низшая, неразвитая фаза каждого явления находит для себя всегда объяснение в высшей и развитой. Поэтому в природе красоты, каковую она является в человеке, мы должны искать разгадки красивого, которое находим в органическом мире.

Возбуждаемое внешними чертами какого-нибудь образа и входящее в нас через внешние же чувства ощущение красоты есть самое глубокое и внутреннее из всего, что человек переживает в себе. Это можно видеть из того, что всякое созерцание прекрасного образа мы силится продлить, хотя его внешние черты уже давно и хорошо известны нам, — он как бы завлакивает от нас все окружающее, постороннее, прерывает наше общение с ним и погружает в какую-то *забывчивость*. Забывшись, мы перестаем, наконец, видеть и его внешние, грубые черты; они сливаются, смешиваются и тускнеют перед нами; созерцание все углубляется, ощущение красоты нарастает, и мы испытываем странное слияние своей души с самою сущностью того предмета, о внешних чертах которого забыли. И в самих себе мы не можем указать ничего частного, особенного, что служило бы восприимником чувства красоты, — как об усваиваемых мыслях можем сказать, что их воспринимает ум, о горестном или радующем — что его воспринимает чувство, или о страсти — что она входит элементом в

нашу волю. Чувство прекрасного *общее* всех этих факторов, из которых складывается психическая жизнь; оно относится к *целой* душе; и мы думаем даже, мы решаемся утверждать, боясь ошибиться не в сущности утверждения, но только в умении выразить его, — что красота есть самая природа души. Внутреннейшее, что есть в человеке, воспринимает прекрасное; и внутреннейшее, что есть в каком-либо другом существе, выражается в прекрасных чертах, его образа.

Но ранее было указано, что все повышения красивого в органическом мире совпадают с повышениями в нем органической энергии — той скрытой силы, которая живет в каждом существе лишь как в момент своего воплощения, и потому именно превращает его в высшие и высшие формы. Эта сила, как было также указано, не имеет ничего общего с механическими силами природы и обнаруживает в способе своего действия черты целесообразности. Но целесообразное всегда есть продукт психической жизни. Вот почему органическую жизнь, в темной глубине времен некогда впервые шевельнувшуюся на земле, затем все развивавшуюся и теперь разлитую во всем безгранично сложном царстве растений и животных, — мы должны рассматривать как проявление в веществе психической жизни. Полное же осуществление ее мы находим в природе человека — и дух его есть узел, завершение и источник всей органической природы. Он есть осуществление, а она — только осуществляющее, создающее его в грубом, материальном смысле, но в сущности созданная им, как средство создается своею целью, каждая ступень улучшения — конечным замыслом улучшенного.

Этим изъясняется глубокое и особенное действие красоты на душу человека: подобное возбуждается только подобным, и как в красоте выражается сокровеннейший нерв жизни, так на сокровеннейший же центр человеческого существа она и действует. Здесь происходит слияние того, что разграничено физическими преградами, но что, обитая в разных существах, в сущности есть одно, — как эта цифра 2 и та *другая*, в ином месте написанная 2, есть, в сущности, *одно* и то же число «два». И здесь, нам думается, лежит разгадка того явления, почему взаимное влечение двух полов, двух разделенных половин одного человеческого существа, которое мы называем любовью, сопровождается всегда ощущением красоты и ее действительным повышением: эти два факта не безразличны друг к другу, они тесно связаны, потому что выражают две стороны одного явления; любовь есть действительно сродство душ, доходящее до слияния их в одну, что физически и выражается в рождении обоими нового и одного одушевленного существа, а то, что предшествует этому слиянию, есть ощущение одною



душою близости другой, то есть красоты другого подобного существа. Потому что, как уже замечено было, красота и есть душа всего живого.

## XIX

Весьма замечательно, что трансформисты, признающие превращение одной органической формы в другую, и, следовательно, происхождение человека от какого-то другого вида животного, никогда не высказывают мысли, что и человек со временем перейдет еще в иную какую-нибудь высшую форму; хотя такой взгляд был бы в высшей степени естественен и последователен в истории трансформизма. Какой-то темный инстинкт мешает человеку смотреть и на себя, как на одно из *промежуточных* звеньев в органическом процессе, хотя именно таковым является всякий зоологический вид, а homo sapiens составляет только один из них. Тревога за равновесие и целость солнечной системы, забота об охлаждении солнца и с ним — за охлаждение земли, все это мы находим в ученой литературе, хотя эти угрожающие факты, если и вероятны, то не ранее, как по истечении многих миллионов лет. Но никогда не являлось тревоги, что человек, который может погибнуть вместе со своею планетой, ранее этого времени превратится в какое-нибудь новое и высшее существо, относящееся к нему так, как он относится к семейству четвероруких обезьян. Что человек есть *граница, предел* в органическом процессе — это инстинктивно чувствуется всем человечеством.

Это инстинктивное сознание действительно оправдывается многими наблюдениями и аналогиями. Если движущее начало в органическом процессе есть органическая энергия, доселе устремлявшая формы все к высшим и высшим очертаниям, то в природе человека мы видим, что не только эти очертания достигают предела совершенства, но что органическая энергия и переливается за них, являясь в чистом и несвязанном виде, как *психическая жизнь*. Уже самое появление ее в этом виде заставляет а priori думать, что, в вечных усилиях своих поднимать и улучшать организацию живого типа, она встретила, создав человека, какую-то непреодолимую преграду. И действительно, многие любопытные изыскания обнаружили, что в устройстве его тела разрешены в предельной форме механические задачи совмещения силы, легкости и подвижности; так что всякое умаление чего-либо или увеличение, т. е. кажущееся усовершенствование какой-нибудь части, немедленно повлекло бы за собою ухудшение целого, нарушение в нем гармонии и равновесия. В этой предельности разрешенной механической задачи органическая энергия и встретила препятствие, которого

она не может преодолеть: изменение организации человека нельзя иначе, как только ухудшив ее, что противно природе органической энергии, которая только улучшает. Отсюда понятно возникновение именно в человеке психической жизни, лишь просвечивающей в других живых существах на степени формирующего начала их организации. Там она не отделена от этой последней, не высвобождена из нее, потому что в возможности улучшения она имеет сферу и объект для своего действия.

Но и явившись в своем чистом и несвязном виде, органическая энергия и здесь сохраняет основные черты свои, вытекающие из природы ее как начала целесообразного. И в психической жизни человека, как ранее в мире животных и растений, она является силою неудержимо зиждущею и вечно устрояющею. Но так как в *самом* человеке нет уже ничего, что могло бы быть достроенным или улучшенным, то есть в нем нет предмета для ее деятельности, то она ищет и находит эти объекты вне его. Отсюда творчество человека в истории, устройство им внешних для себя вещей, создание сложных и великих организмов государства, науки и искусства.

## XX

Глубже всмотревшись в это историческое творчество, мы откроем в нем замечательное соотношение с творчеством органическим, с новой стороны доказывающее, что в человеке заканчивается органический процесс и что, если суждено когда-нибудь умереть на земле жизни, она умрет с ним и в нем.

И в самом деле между органическим творчеством и между психическим, как оно выразилось в истории, существует то замечательное соотношение, что всякий раз, когда первое не ослабевает — второе отсутствует, а когда появляется второе — ослабевает первое. И при этом умаление одного из этих видов творчества при возрастании другого совершается в столь строгой соразмерности, что невозможно отрицать общности и единства их происхождения. Эту общность мы и находим в органической энергии, которая, преобразуясь в психическую, ослабевает в собственных определениях, напротив, ни во что не переходя — сохраняется в прежнем виде, как энергия органического созидания.

Вследствие предельной формы человеческой организации, в ней органическая энергия, сохраняя свои прежние черты, может проявиться только в акте рождения — в воспроизведении ряда поколений, в которых она продолжает существовать после смерти их общего праро-

дителя. Поэтому соотношение, о котором мы говорим, может быть прослежено на судьбе отдельных родов<sup>1</sup>, из которых слагается каждая народность, на их генезисе в связи с исторической деятельностью. Каждый род (*gens*) есть как бы отделившаяся, в лице своего прародителя, ветвь человеческого рода, несущая в себе некоторую определенную долю органической энергии, причем эта последняя, будучи не одинаковою в различных родах, в каждом из них, отдельно взятом, присутствует как постоянное количество. Эту энергию живет род физически и ее же проявляет он в своей исторической деятельности.

Рано исчезающие роды, и притом без проявления себя в истории, должны быть рассматриваемы как заключающие в себе от начала незначительное количество органической энергии, которое и растратилось, преобразовавшись в ту слабую степень психической деятельности, которая обнаруживается каждым человеком в своей частной или семейной жизни. Мы не будем говорить об этих родах, так как, за отсутствием в них исторической деятельности, здесь не может быть обнаружено то соотношение, в которое входит эта деятельность вторым членом. Заметим только, что есть целые народности, представляющие аналогию с этими родами: имена их сохранены в истории, но они рано исчезают, придя в соприкосновение с другими народами, с которыми слились без какого-либо резко выраженного сопротивления. Полабские славяне и, отчасти, все обширное кельтическое племя в Европе могут служить лучшим примером подобных слабых народностей. В отличие от народов, совершенно не принимавших участие в истории (как, например, финские племена), их можно назвать *полуисторическими*. Общая черта их заключается в том, что они замешиваются в движение всемирной истории чисто механически, внешним и случайным образом, но не составляют в этом движении никакого органического звена. Их отсутствие из нее, их выпадение ни в чем не нарушило бы хода и смысла исторического развития: в нем недоставало бы только какого-нибудь побочного эпизода, или некоторые необходимые его звенья имели бы иную форму, иначе возникли бы, развились или окончились. До некоторой степени участие их во всемирной истории можно сравнить с ветром, который, заметавшись в древесную листву, шумит в ней и движет ее, но к росту этого дерева и внутренней жизни самих листьев не имеет никакого отношения, в очень редких случаях прерывает его и никогда не бывает ему нужен.

---

<sup>1</sup> Мы разумеем *род* в том определенном и замкнутом значении, как он выразился (всего полнее и чище) у римлян в патрициях, у греков — в эвпатридах, и менее чисто и полно у всех исторических народов.

Что касается до строго исторических народов, судьба которых в точности известна, то на них мы можем проследить указанное выше соотношение, и в этом именно соотношении лежит истинное объяснение большинства явлений их жизни. По крайней мере, все общее и важное в этой жизни — ее вековые, массовые черты, для которых так много и всегда напрасно историки искали каких-нибудь объясняющих начал или законов, разгадывается при свете этого соотношения.

## XXI

Есть два типа исторического движения, и к одному из них сводится прошедшая жизнь каждого единичного народа. Один тип, обнимающий собою жизнь меньшинства исторических народов (таковы, например, китайцы, армяне, отчасти евреи), заключает в себе ту главную особенность, что в нем *есть только передвижение частей, но нет движения целого*, — вследствие чего явления, им обнимаемые, не слагают из себя никакого процесса, в котором последующее исходило бы из предыдущего, раскрывая смысл его. Жизнь народов, совершающаяся по этому типу, по причине указанной особенности представляется неподвижною, несмотря на постоянное движение, которое в ней происходит, на быструю смену явлений, на обилие лиц и событий. Движение это можно сравнить с движением воды в водопаде: ни одна частица ее и ни на один момент не остается в покое, и однако в целом своем водопад представляется неподвижным; века проносятся над ним, а он сохраняет все тот же вид. Подобную же неподвижность при вечном движении представляла бы несущаяся вперед точка, которая, однажды получив толчок и потом не встречая никакого сопротивления и не испытывая действия никакой отклоняющей силы, и, продолжала бы нестись в безграничное пространство, не ускоряя и не замедляя своего полета. Если мы спросим себя, отчего же происходит этот особенный и странный покой — что есть тут такого, что сообщает подвижному черты неподвижного, — то должны будем ответить следующее: к изменению, однажды возникшему и продолжающемуся, здесь не привходит никакого нового изменения, а с тем вместе не привходит и никаких различий, которые могли бы сделать и последующее не похожим на прежнее. У народа, жизнь которого замкнута в этот тип генезиса, происходят войны, заключаются договоры, сменяются династии, наконец, он является то свободным, то поработленным, сам владеет или над ним владеют, — однако, во всем этом нет ничего, что заставило бы задуматься на собою историка или что могло бы внушить ему какую-нибудь общую идею. Все эти события — только

частности, между собою не связанные, и для каждого из них достаточно указать отдельную причину, его породившую, чтоб оно было вполне ясным и понятным. При сильном соседе такой народ поработается, при слабом — он господствует, без каких-либо внутренних причин для первого и второго. Он счастлив при добром и благоразумном государе, и бедствует при злом, — и все это лежит вне всякой возможности предвидения.

Постоянство в существовании, неумирающая жизнь, есть общая внешняя черта подобных народов. Однажды появившись в истории и ничего не привнеся в нее, они остаются затем в ней определенно долгое время, то являясь участниками в ходе ее событий, но лишь внешним, до известной степени пассивным образом, то погружаясь в покой исключительно внутренней жизни. Черты некоторой дряхлости (Китай, Армения), может быть, и есть в них; но, появившись очень рано, эти черты затем несколько увеличиваются и смерть не наступает для них. Эту незначительную дряхлость мы можем отнести, как к своей причине, к тому напряжению в них органической энергии и переходу ее в психическую деятельность, которое потребно было на первоначальное сложение их в нацию и государство, — что представляет собою все-таки историю, изменение в изменении, а не простое чередование событий. Но, затем, оставшаяся часть органической энергии, и в самом начале не очень значительной, уже передавалась у них без изменения, от поколения в поколение, ни во что не преобразуясь. Ее сохранение и есть истинная причина их долговечности в истории; а то, что, сохраняясь, она не преобразовывалась в психическую деятельность, есть причина их неподвижности. В них нет духовного творчества, и потому в жизни их не происходит нарастания в явлениях, которое сложило бы их в цельный, развивающийся процесс. Войны или мирные договоры, даже законодательства, какие у них есть — все это суть частные события в жизни их государей. Имея предметом своей деятельности жизнь целого народа или государства, эти последние только тогда проявили бы какое-нибудь психическое творчество, если бы в замысле их или в делах обнаружились какие-нибудь особенные и новые черты в сравнении с тем, что совершалось ранее. И как отсутствует творчество в ежедневной деятельности каждого частного человека, так отсутствует оно и здесь — в событиях народной или государственной жизни, производимых обычно деятельностью государей. Они не затрагивают внутреннего недр их существа: они происходят только на его поверхности. Заметим, что та незначительная психическая жизнь, которая проявляется и в частной деятельности, но не имеет здесь никакого подобия с глубиной и обилием жизни в моменты творчества, не сокращает исторического

существования органической энергии, как мы наблюдаем и в зачатках психической деятельности у животных, — но только отражением неизмеримо более ярким, так как и органическая энергия в человеке неизмеримо возросла.

## XXII

Второй тип исторического движения есть *развитие*, и через него проходит жизнь большинства исторических народов. Судьба Греции может служить классическим примером этого второго типа генезиса, как Китай служит классическим примером первого типа. Его общепризнаваемой чертой служит то, что в нем есть *движение целого*, — и в него именно входит, как частность в общее, движение частей. Поэтому исторические явления, замкнутые в этот тип (войны, договоры, законодательства и пр.), имеют в себе каждое нечто частное, особенное, и все — нечто общее, связующее их в одно. Если мы анализируем эту общую часть, то увидим, что во времени она является нарастающей, и усложняющейся, и это-то именно нарастание и усложнение и сообщает всему типу генезиса, о котором мы говорим, его отличительные, характерные черты. По ним мы можем назвать его *процессом раскрывающимся*, так как он весь слагается из фаз, из которых каждая последующая, являясь возросшею сравнительно с предыдущей, яснее раскрывает в себе то содержание, которое уже заключалось в ней, но лишь в смутном и неопределенном виде. Поэтому-то и в жизни народов, проходящей в форме этого процесса, каждое явление получает свой смысл и освещение не столько в предшествовавших или одновременных с ним обстоятельствах, сколько в том, что за ним последовало, во что перешло оно.

Вследствие того, что этот тип генезиса заключает в себе движение целого, а не частей только, — в нем не одни части и оканчиваются, не единичные только явления завершаются и прекращаются, но он весь оканчивается в своем целом. Это есть общая и постоянная черта народов, история которых слагается по его типу, что они суть народы постоянно возрастающие в красоте и силе своей духовной жизни и затем умирающие. Как в истинном смысле жизнь одним им присуща в истории, так и смерть есть их необходимый удел.

Рассмотрим и у этих народов соотношение между тратой органической энергии и между психическим творчеством. Если историческая жизнь племен, замкнутая в первый тип генезиса, обнаруживает только в самом общем виде это соотношение — как отсутствие траты энергии и с ним вечное продолжение рода при отсутствии духовного творчества, —

то здесь, у народов, замкнутых в раскрывающийся генезис, мы можем наблюдать все частности, все вариации этого соотношения, и в них-то именно, являясь никогда не нарушенным, оно получает свое полное подтверждение и оправдание.

Но прежде, нежели перейти к этим частностям, скажем несколько слов в пояснение общей формы раскрывающегося процесса. Она строго вытекает из того, что в нем происходит преобразование органической энергии в высшую форму — в одухотворенность, потому что это преобразование может совершиться только по законам целесообразности. Как уже определено было выше, органическая энергия есть сила скрытой целесообразности, которая возрастает в своем напряжении по мере того, как подвигается во времени, подходит к завышению своему — к цели. Откуда, пока сферой ее действия была организованная материя — являлось усовершенствование этой организации, появление все высших и высших растительных и животных форм; а с переходом этой энергии в иной и высший вид, закон движения ее не изменяется, и отсюда-то именно вытекает форма *раскрывающегося* процесса, в которую слагается историческая жизнь духовно-творческих народов. Во всем, что создается ими, будет ли то политическая форма, наука и философия или искусство — все последующее является более прекрасным и более мощным, нежели предыдущее, жизненность и красота создания возрастает, как возрастает и сложность организации в растительном и животном мире, варьирующем в формах этого же раскрывающегося процесса. Самый ход событий в истории этих народов в высшей степени проникнут обычными чертами целесообразности: двигаясь медленно и будучи незначительными при начале, они все нарастают в размерах, по мере того, как чередуются; самое развитие их ускоряется, и, наконец, перед моментом завершения судеб народа, они приобретают поразительное величие и красоту, и вместе — ужасающую быстроту в своем ходе, почти какую-то торопливость. Так, история греческого народа, продолжавшаяся приблизительно половину тысячелетия, в одном веке (V в. до Р. Х.), предшествовавшем ее падению, вмещает и греко-персидские войны, и век Перикла, и Пелопонесскую войну; вспомним также уторопленный ход римской истории от конца 2-й Пунической войны до Августа: с небольшим в одном столетии здесь включено столько событий, и при том неизмеримо значительных, сколько их не заключено во всех предшествующих веках достоверной истории Рима. Здесь и там мы одинаково наблюдаем, что события как бы какою-то беспорядочною толпой торопятся вперед, в них есть жадность бытия и движения, — мы поясняем: жадность достигнуть и выразить цель свою, т. е. свой смысл, красоту, ранним отблеском ко-

торой они все жили, силою которой порождены были и длились во времени.

### XXIII

Теперь переходим к частностям в жизни как названных двух, так и подобных народов. Не в полном составе своем живут они историческою жизнью, обнаруживая в ней психическое творчество; *масса* народная, и именно весь сельский люд и большая часть городского, всегда является в истории только служебным материалом, только пассивным орудием выполнения целей, которые зарождаются в мысли и страстях немногих отдельных людей или групп их. Эти последние образуют собою *исторические роды* (*gens*), и что бы ни служило основой их возвышения — древность происхождения, сводящаяся к древности первого важного деяния какого-нибудь предка, или богатство, или даровитость — во всяком случае эти роды, однажды возвысившись, очень долго удерживают свое положение, и с их деятельностью неизменно связывается история целого народа. Эта историческая деятельность, каков бы ни был ее характер, на что бы ни была она направлена, всегда связана с большим напряжением духовных сил, нежели какого требует простая частная жизнь; и, следовательно, если соотношение, которое мы выясняем, правильно — она более истощает органическую энергию рода. И действительно, у всех исторически известных наций мы наблюдаем, что *исторические роды угасают в них гораздо ранее, нежели не исторические*, — и это внешним образом выражается в том, что подобные нации продолжают еще долго существовать как этнографический материал после того, как собственно история их уже закончилась. Хорошим примером этого могут служить греки, которые существуют две тысячи лет как этнографический материал, не произведя за это время ни одной гениальной личности, хотя прошедшее их родины и стоит перед ним как великий руководящий пример и образец; а ранее, в течение немногих сот лет своей истории и без всякого руководящего примера, они выдвинули из себя на всех разнообразных поприщах: политической, умственной и художественной жизни великие дарования. Яркость и красота созданного этими даровитыми личностями, очевидно, истощила энергию нескольких исторических родов, и они угасли, а остальные роды продолжают до сих пор существовать, потому что они ничего выдающегося не создали и не совершили. Органическая энергия в них сохраняется, потому что она ни во что не переходит; а там, преобразовавшись в психическое творчество, она исчезла.

Заметим, что в каждом роде, будет ли он исторический или нет,



органическая энергия есть количество постоянное — однажды (в акте рождения от предка) установившееся; и поэтому она распределена в нем таким образом, что всякое нарастание ее в одной личности сопровождается умалением во всех других. То есть, раз в психическом творчестве или в исторической деятельности она истощается, преобразуясь, — ее остается уже очень немного в исторических родах перед моментом их угасания. Это мы и наблюдаем в них действительно: последние представители исторических родов являют собою такие черты психической малоспособности, которые ставят их настолько же ниже обыкновенного уровня людей, насколько их предки стояли выше этого уровня; и как те возвышали свой народ и вели его за собою по историческому пути, так эти пятнают собою историю, некогда возвеличенную их родоначальниками, и вносят в нее своею деятельностью хаос и разрушение. Не силой характера своего вносят они его, но именно малоспособностью психическою, которая проявляется в сфере умственной — бессмыслием, в сфере чувства — отсутствием всякого живого порыва, в сфере воли — бесхарактерностью. Неудача сопутствует всякому их замыслу, нелепо задуманному или же нелепо выполняемому; и они невольно сходят с исторической сцены, отдаваясь исключительно частной жизни, как требующей менее сил; но и в ней, обладая, еще высоким положением и часто богатством, они производят только низкое или преступное. Черты нравственного идиотизма проступают в образе их жизни — в том, чего они желают или чем удовлетворяются; и, не нося в себе никакой задержки и только опасаясь карающего закона, они втайне развертывают свои извращенные и потухающие страсти без какой-либо жалости к людям, без какого-либо укора совести. С тем вместе робость и безволие постоянно сопутствуют им, и кто имеет в себе силу душевную — может без опасения гнести их всяческим унижением. Ненавидя и боясь, они все ниже и ниже склоняются перед сильным и, несмотря на величайшее тщеславие, переносят даже смешное. И, однако, в силу этого же тщеславия, они все еще пытаются выйти из сферы частной жизни: политическая для них невозможна — она требует энергии в самый момент действия, сейчас же, на что они не могут решиться: и вот они отдаются занятиям наукой, искусством и литературой — и вносят в них разложение и смерть, как и во все, к чему прикасаются, — сами едва ходящие мертвецы: место поэзии занимает холодная риторика и противоестественное словоизвятие; наука становится бессмысленным собиранием незначительных фактов и ненужных сведений; наконец, живопись, скульптура и архитектура становятся вычурными и смешными. Отсутствие чего-либо простого, ясного и доброго есть общая и постоянная черта этого творчества. Не понимая

сущности явления, которое перед ними совершается, оставшиеся истинные поэты думают остановить его неудержимый рост — и возникает новый род литературы, сатира — самый бесплодный и ненужный из всех. Ее приветствуют все; от нее ожидают, что она что-то поправит в непоправимом: улучшить, когда можно было бы только пересоздать; но, как само собою разумеется, все эти ожидания бывают напрасны. Поношенные читатели ее, как и во всем другом, стараются и в ней превзойти всех других. Понимая во всем только внешнее, они придумывают самые необыкновенные пороки и выказывают отвращение к ним в самых длинных словах. Каждое из них чрезвычайно сильно, и они утешаются, что превзошли свои образцы и стяжали уже бессмертие; а поздний читатель их, удивляясь странному сочетанию необыкновенных выражений, с любопытством всматривается в большой ум и большое сердце, в которых могло все это зародиться.

Римское общество времен империи (и в частности — сословие сенаторов) может пояснить все сказанное. Едва ли нужно говорить, что в появлении подобного общества лежит роковая необходимость для всякого исторического народа, и он также должен готовиться к нему, как всякий живущий человек, а не искусственный автомат, должен готовиться к старости и смерти. Оно составляет великое бремя для народа, обыкновенно еще здорового в это время в своих глубоких недрах; но как некогда они принимали от его предков все великое и благодетельное, так теперь должны перенести с мудрым терпением все нелепое и дурное. Стеснение по возможности их свободы, уничтожение чего-либо привилегированного в их положении, чем обычно пользуются еще они по наследию. — есть только необходимая мера самосохранения от них, и она должна быть принята; но, затем, они должны быть окружены вниманием, заботой и состраданием, не потому, чтобы заслужили все это — сами они ничего уже не могут заслужить, но только из уважения и благодарности к памяти их предков. В соотношении, которые разбираем мы, раскрывается великий смысл и глубокая справедливость аристократических форм общества: кто принимает доброе — должен принять и злое, и кто отдает все народу, даже жизнь и счастье своего рода — должен надеяться со временем и получить что-нибудь, хотя бы простое милосердие, к своему бедствию.

## XXIV

Моменты временного понижения духовной жизни и окончательного падения исторических наций также находят свое объяснение в этом соотношении. Уже давно замечено, что за каждым великим уси-

лием и высоким подвигом, который совершает какой-либо народ в своей истории, следует более или менее продолжительный период упадка его духовных и политических сил. Поразительный пример этого представляет Италия после Возрождения наук и искусств, и Германия после эпохи Реформации: на всем протяжении этих стран в течение длинного ряда лет не выходит из недр народа не только ни одного великого дарования; но, следя за наукой, за характером общества, за церковью и политикой, мы с удивлением видим повсюду такую посредственность ума и слабость характеров, какой не находим у тех же народов в самые незначущие, средние эпохи их жизни. То же можно сказать об Испании после века Филиппа II и Сервантеса, когда она стояла во главе великого движения католицизма против реформации и героически боролась с мусульманским Югом и Востоком; это же наблюдаем мы и в России в три последние четверти XVIII века, следовавшие за эпохой преобразования ее Петром Великим и его сподвижниками. Историки долго и всегда напрасно отыскивали причины для этих временных падений, и не находили ничего другого в объяснение, кроме сетований на деспотизм государей или на упадок образования, дурное состояние школ и испорченность нравов; но, конечно, это только то же проявления упадка, для которого ищется объяснение, — это есть для всех очевидное следствие, а не искомая его причина. В распределении органической энергии, которая, сосредоточиваясь в одном пункте, ослабевает во всех ближайших, лежит истинная причина этих исторических явлений. Великое усилие в сфере политики, религиозных идей или искусства настолько истощает силы нации, или, что то же, родов, ее составляющих собою, что в течение ряда десятилетий ее едва хватает на повторение поколений, в которых психическая жизнь тускла, просвечивает сквозь организацию менее, нежели как она светит в обыкновенном нормальном человеке. И только когда проходит достаточное время отдыха, сна и без всякой видимой причины начинается для нации духовное пробуждение. Так называемый период бурных стремлений в протестантской Германии есть, кажется, самый типичный и, может быть, самый прекрасный пример подобного пробуждения; у нас мы наблюдаем его в радостном оживлении общества и литературы в начале царствования Александра I. Насколько незначущи при этом бывают внешние причины, это можно видеть из того, что духовное творчество нашего общества все возрастало, несмотря на гнет его при Аракчееве, а в царствование Николая I стало классическим по красоте и достоинству своих созданий.

Психическое творчество человека также относится к органической энергии, которою физически живет он, как цвет и плод дерева относятся

к его древесине и росту. Несмотря на полное несходство одного и другого во внешних чертах, по взаимной им обусловленности мы заключаем, что они суть двойное выражение чего-то одного. И дерево, как человек, принеся плод, ослабевает на время; и для него наступает зимний сон, во время которого оно перестает расти. И замечательно, что чем обильнее было цветение, тем сильнее бывает наступающая слабость. Опытные садовники, зная это соотношение, обрывают завязывающийся цвет растения, ранее чем он распустится и принесет плод. Этим они сохраняют растению его силы и удлиняют жизнь его. Но в истории, как и в безыскусственной природе, все развивается свободно, подчиненное только великим законам своим. Однако, это не мешает нам наблюдать над нею и, открывая эти законы, вдумываться в их глубокий смысл.

Есть даже растения, которые цветут только однажды и, принеся плод, умирают. Этот пример удобен для того, чтобы, снова возвратившись к истории, сказать еще несколько пояснительных слов об умирании исторических народов. Если всякий подъем в народе психического творчества вызывает упадок его сил на более или менее продолжительное время, то ряд этих подъемов (как в новой европейской истории) или постепенное и непрерывно возрастающее творчество, разрешающееся наконец множеством самых чудных созданий, появляющихся почти одновременно, как в античной истории, совершенно истощает его силы и производит его окончательное угасание. Только масса простого народа, которая, ежедневно физически трудясь, не имела никакой возможности преобразовать свою органическую энергию в психическую, остается жизненной и продолжает существовать как этнографический материал; исторические же роды, то есть совокупность высших классов, едва продолжают влачить свое существование. Они уменьшаются даже количественно, потому что рождения численно уже не покрывают умираний. Гордые и замкнутые еще более, чем прежде, эти классы раскрываются и, хотя с отвращением, принимают в себя частицы простого, жизненного народа (Спарта, Афины, Рим); из них именно происходят в это время все замечательные люди (напр., лучшие римские императоры, римские полководцы времен переселения народов, и пр.). Но появление этих выдающихся личностей становится все более и более редким, потому что частицы простого народа, допускаемые в себя высшими классами, никогда не бывают значительны. Между тем слабость и малоспособность этих классов все возрастает. Лежа на народе, как бремя, они только разлагают слои его, которые непосредственно с ним соприкасаются, но уже не могут оказать ему ни в чем помощи, не в состоянии повести его ни к чему труд-

ному, как бы оно ни было необходимо. С ними и через них народ и государство становятся беззащитными среди окружающих, свежих племен и, в конце концов, поглощаются ими; подобно тому, как великие остатки какого-нибудь жилища, в котором лежит только труп того, кто некогда соорудил его, жил в нем и защищал его, — растаскиваются на потребности свои случайными пришельцами. Зрелище такого постепенного поглощения представляет собою Рим времен падения Западной империи: покоривший некогда все народы, он был растоптан по частям дикими полчищами германцев, даже имен предводителей которых мы большею частью не знаем.

## XXV

Здесь же лежит объяснение гения. В отличие от всех других людей, которые являются промежуточными в истории, только продолжают в ней или готовят, он является в ней, всегда и один, *заканчивающим*. Длинный процесс какого-нибудь развития, в каждом звене которого мы открываем что-нибудь ясно недостающее, около которого трудились бесчисленные умы разной силы, — вдруг замыкается созданием, перед которым мы останавливаемся, удивленные; и полнота внутренняя, гармония частей, отсутствие чего-либо недостающего есть главное, что поражает нас в нем. Это придает подобному созданию *предельность*: созерцая его, мы чувствуем, что за границы его совершенства нельзя переступить, и, пытаясь повторить его в своем творчестве; или подражать ему, — создаем только уродливое. Видя это, мы называем его идеалом, как вечно достигаемым и никогда недостижимым. Ощущение странной тоски есть, кажется, главное и самое общее, что мы испытываем, созерцая его: оно влечет нас, в какую-то область, темную и загадочную, о которой мы раньше ничего не думали, и вдруг чувствуем в ней, в ее странной и обаятельной глубине, что-то самое близкое и родное, от чего мы только уклонились, забывшись, но куда нам нужно непременно идти, оставив все нужное, чем раньше жили. Гениальное создание, к какой бы сфере оно ни относилось, есть как бы луч, скользнувший по земле из иных и высших миров; и люди тянутся к нему, потому что и самая природа их — то, что есть в ней сокровенного и глубокого, неясного для них самих, — также из высших и иных миров, сродство с которыми они вдруг познают через созерцание подобного создания.

Уже давно замечено, что в характере гения лежит нечто особенное, что делает его непохожим на всех остальных людей. И действительно, среди них, лишь продолжающих историю, он, заканчивающий ее, стоит

одинок; и нет ничего, что могло бы разрушить положенную в самом строе души преграду, которая отделяет его от тех, с кем он живет, которые его окружают, любят или ненавидят, но никогда не могут понять. Чаще всего он сам не понимает, что отделяет его от них. Тщетно силится он переступить эту невидимую преграду, тянется ко всем радостям жизни, которые так хорошо понимает, которые так любит, и которых вкусить ему никогда не дано. Нет никакой в нем недоверчивости, и видя души людей, как прозрачные, он хочет ввести их и в свою душу, но здесь впервые чувствует, что какое-то взаимное несоответствие психического строя препятствует этому. По мере того, как проходит время, эта жажда человеческой близости становится неутолимее, желание примкнуть к чужой жизни — страстнее; он срывает с себя все, что людям могло бы показаться в нем странным или враждебным, глубоко хоронит всякое отличие в себе; и хочет войти к ним, как равный или даже как низший. Напрасные усилия: своим проницающим взглядом он ясно видит, что даже жалкого и смешного (каким они всегда любят ближнего, за что прощают ему все глупое и даже злое) *его* они не любят; и смех, который он внушает им собою, не есть смех примиряющий и сближающий, но враждебный и отталкивающий.

Эта глубокая отъединенность от людей, быть может, становится, до некоторой степени, побуждением к творчеству. Видя напрасность всякого усилия стать дорогим, для них при жизни, он хоть в воображении своем хочет пережить это счастье, хотя в далеких будущих временах; когда скроется его ненавистный для них образ и сменятся поколения их потомков, он начнет жить в уме тех потомков своею мыслью, или в их сердце — теми чувствами, которые при жизни никогда не были разделены. Пусть они будут костью не от его кости и плотью не от его плоти, но эта чужая плоть и кость примет в себя его душу — он убьет в них то, что есть в них чужого, и поселит свое, чему не мог найти места при своей жизни. И в то время, как могилы их отцов будут забыты ими, он сам, забытый этими отцами, привлечет к своей могиле, хотя в поздние времена, их потомков; и они понесут на нее все свои тревоги и радости, все мучительные вопросы своей мысли и сокровенные надежды своего сердца. И оставят все, что завещали им отцы их, чем жили те отцы и что копили для своего потомства; и пойдут туда, куда они не хотели вести их — за звуком его имени, благословляя его память, осуществляя то именно, чего он так сильно и так напрасно желал при жизни.

Эта особенная и странная жажда жизни после смерти — если не руководит гением в его творчестве, то, по крайней мере, сопутствует этому творчеству; и в ней есть много темного и загадочного: как будто

какое-то отвращение совершенной души к несовершенным, и отсюда желание погасить в них жизнь — содержится в этом чувстве, почти преступном. Совершенная мысль гения, завещанная им в трудах его, в самом зародыше убивает тысячи мыслей в миллионах чужих душ, вырывает еще не взросшую жатву, и вместо всего разнообразия, какое она представила бы собою, разрастается великим, но одиноким деревом. Во всяком случае, вместе с совершенством, которое вносит гений в духовный мир людей, он вносит в него и некоторый уклон к единству; вместе с радостным и близким, что несет его труд людям, он несет в себе и нечто губительное. И в ту особенную тоску, которую испытывают люди, созерцая гениальное создание, — быть может, не малую долей входит тоска по своей жизни, по тому не взрослому миру темных мыслей и желаний, которые никогда более не пробудятся, обожженные знойным лучом совершенного создания.

Чувство отъединенности своей от людей, сознание невозможности прикоснуться к простым и тихим радостям земли, и это преступное желание погубить еще не родившуюся жизнь входит только частью, и притом не главной, в то особенное и сумрачное настроение, которое уже в древности было отмечено, как постоянная черта гения. Из-за ощущения несоответствия своего со всем живущим, встает мало-помалу иное ощущение в нем, в котором содержится разгадка всего странного и непонятого, что от начала он чувствует в себе: это — ощущение близости смерти, гораздо более ясное, чем у других людей, и наступающее гораздо ранее, чем придет физическая смерть. Жалкое и напрасное усилие от нее уклониться порождает в нем эту странную жажду жизни после смерти, в душе хотя бы иных людей, но непременно здесь, на земле; и ее же холодное веяние и желание всякого живого существа убежать от нее поселяет то враждебное между ним и другими людьми, чего не могут они объяснить себе, и что он не в силах преодолеть. Все закрыто от него на земле, все от него отделено на ней; и только вечное небо сияет над ним, с ним одним не порвана его связь и соотношение. Он видит его тем ярче и тем отчетливее, чем глубже смертный сумрак, обволакивающий его со всех сторон, кроме одной, и закрывающий от него все земное. Закрывая усталые глаза на землю, покорившись особенностям своей природы, он как бы в некотором видении открывает их в небо; и те высокие истины, которые открываются ему там, высшую и просветленную красоту — все это он сводит на землю, едва пересиливая себя, чтобы через внешний образ или в звуке слов сделать понятным и восприимлемым для людей то, что он созерцал без слов и без образов.

И в самом деле, если для других людей земная смерть наступает лишь в относительном, условном смысле, то для гения она наступает в значении абсолютном и совершенном. Являясь промежуточным звеном в истории, каждый человек несет в себе жизнь, принятую от другого, и, умирая, передает ее своему преемнику; один гений только принимает, но уже никому не передает жизнь: она угасает в нем — для вечной жизни в его созданиях. Во всяком случае, из сферы человеческого существа он уходит, теряет свою связь с его образом. Как человек есть грань органического процесса, где он заканчивается, не продолжаясь далее; так гений есть грань и предел человечества, в лице которого оно (частично) потухает. Таким образом, в то время как для всякого иного существа смерть есть только индивидуальное умирание, только упадение отдельной волны в воды океана, который сам остается, — для гения смерть есть родовое, и даже более — органическое умирание: в нем не волна всплеснувшая упадает, а пересыхает сам великий океан. Отсюда понятно то особенное чувство, которое он несет в себе и особенное и странное ощущение, которое испытывают все, кому случится соприкоснуться с ним. Его внутренний мир не похож на внутренний мир других людей, и судьба его иная, чем их; есть действительно несоответствие в их психическом строе.

Внешним образом это выражается в том, что в гении заканчивается род, его породивший, вся энергия которого без остатка преобразуется в его психическое творчество. Если мы возьмем важнейшие сферы исторического созидания и выделим всех великих людей, трудом которых они воздвиглись, то заметим, что ни в одном из этих людей не было нарушено раскрываемое нами соотношение между силой индивидуального творчества (духовного) и слабостью родового (физического). Именно, всякий раз, когда творчество было безусловно гениально — безусловно пресекался в творящем род его (*gens*); а когда оно было близко к гениальному — род продолжался, но или только в лице женского потомства, то есть не несущего в себе энергии дальнейшего органического созидания, или, если и в мужском, то в чрезвычайно хилом, малоспособном физически и духовно, редко достигающем полных лет и обыкновенно угасающем в первом же колене. В политической истории этим объясняется, почему за всеми великими царствованиями следуют или междоусобия (в случае совершенного прекращения династии в лице великого государя), или чрезвычайное замешательство, ухудшение и даже остановка всех дел (в случае продолжения династии в лице малоспособных преемников великого государя). Достаточно указать на



судьбу Греции после Александра Великого, Рима — после Цезаря, средней Европы — после Карла Великого, России — после Иоанна IV и Петра I, чтобы объяснить мысль, которую мы высказываем, и для полного подтверждения которой нужны бы обстоятельные исторические исследования, здесь неуместные. Но мысль эта находит еще более подтверждения, если от политического творчества мы обратимся к чисто духовному: Фидий, Рафаэль и Бетховен в сфере искусства, Платон и Аристотель, Декарт и Бэкон, Спиноза, Лейбниц и Кант в сфере чистой мысли, Коперник, Кеплер и Ньютон в сфере точного знания, и почти все великие поэты — оправдывают в высшей степени это соотношение, в размерах дарования своего и отсутствия или слабости потомства представляя все оттенки, все переливающиеся степени этого соотношения. Нельзя указать в истории ни на один род, который выдержал бы появление двух гениальных в себе личностей; если он заканчивается высокими дарованиями и их несколько — они только талантливы (семья Бахов в музыке); гений же истинный всегда и совершенно истощает в себе силы своего рода, и они должны быть значительны и ранее нисколько не растрочены в исторической деятельности, чтобы он был действительно велик. Этим объясняется, почему в момент высшего расцвета национальной жизни, когда появляется столько гениального в ней, на историческую сцену вдруг выступают *новые* роды, ничем особенным ранее не проявившие себя, хотя бы высокие по общественному положению (напр., Кай Гракх, Сулла и Цезарь в Риме), и они совершенно затмевают собою старые *деятельные* роды (род Фабиев в Риме): эти последние в долгом историческом труде уже настолько истощили свою энергию, что хотя и теперь еще продолжают выделять из себя даровитые личности, но уже не могут, как прежде, вести вперед историю. Ее ведут в этот последний момент и заканчивают гении, в духовных силах которых сосредоточена нерастроченная энергия дотоле неизвестных родов, и она растрачивается в них одновременно и вся, потому что и роды эти, произведя гениальную личность, угасают с нею или вокруг нее, лишь недалеко отойдя от нее во времени.

Есть много мелочных, но любопытных черт и в физической организации, и в частной, внутренней жизни каждого гениального человека, которые все подтверждают только что высказанный взгляд на него. Подобно тому, как в органической природе натуралисты замечают, что жизненная энергия, уже выразившаяся в одной форме красоты, не выражается ни в какой другой ее форме, вследствие чего, например, красота оперения у птиц не совпадает со звучностью голоса; так и в чертах гения, красотой созданий которого мы любимся, мы видим часто по-

меркнувшей обыкновенную физическую красоту. И если, пораженные этим явлением, мы глубже будем всматриваться в черты его лица, мы откроем в них не только отсутствие красивого, но и часто и присутствие чего-то отвратительного, отталкивающего (напр. лицо Декарта или еще Канта). Тусклый, чаще всего неподвижный взгляд, неприятное сложение рта, наконец; как замечают многие, нарушение самой симметрии в строении лица (неполное подобие правой и левой стороны его) — все это вскрывает перед нами самую глубь гения, в котором органический строй человеческого тела уже пошатнулся, ослабел центр его и не сдерживает более в гармонии соответствующих друг другу частей... Все полно смерти и разрушения.

## XXVII

Если, вчитываясь в биографию великих людей, мы обратим внимание на возраст, в котором возникли их великие создания, мы с новой стороны увидим подтверждение всего сказанного. Несомненно, что самое выполнение этих созданий, техника творчества есть нечто второстепенное и незначущее сравнительно с самым замыслом их; и в этом отношении представляет величайшую важность точное определение времени, когда возник этот последний по отношению к каждому единичному произведению. Насколько мы имеем в точных биографических данных подобные определения, они относят возникновение всех великих замыслов, исполнение которых видела история, ко времени *первой молодости* гениальных людей; позднее 30 лет едва ли была создана хоть одна великая идея, задуман политический план или вспыхнул образ художественного создания. С этого времени обыкновенно наступает уже исполнение замысла — то, что мы назвали выше техникой творчества. Гете и Ньютон, глубина созданий которых, казалось бы, безусловно исключает всякое представление о молодости, в действительности именно в этом возрасте задумали — первый своего «Фауста», а второй — все свои великие теории, и между ними теорию всемирного тяготения; великие же открытия его в математике (теория флюксий, бином и др.) все сделаны были приблизительно на 23 и 24 годах жизни. В этом же, приблизительно, возрасте Декарт открыл аналитическую геометрию и принципы новой философии; Бэкон задумал *Novum Organum*; немного старше этих лет Рафаэль и Моцарт сошли в могилу, создав ряд творений, которые впервые шевельнулись в них, в небесном образе, без сомнения в годы почти еще отрочества. Как будто какое-то глубокое и скрытое колебание происходит в организации гениального человека в возрасте, когда обыкновенно наступает для

человека время физической (половой) зрелости; станет ли он в ряду других людей только продолжателем своего рода или создаст чудные произведения в сфере мысли, искусства или политики — все это определяется в этот момент, все остается скрытым до времени, пока не наступит разрешение указанного колебания. Что обуславливает это решение в одну или другую сторону — мы даже и догадываться не можем. Но вот оно совершается; вся органическая энергия, именно теперь достигшая полного внутреннего напряжения и уже готовая бы передаться в том же виде потомству, вместо этого через какой-то неизследимый акт преобразуется в психическую; и, в одно время, и потухает в нем род, и зарождаются чудные замыслы будущих творений.

Есть только одна черта, которая отличает гениальное создание от всех других, не гениальных, того же рода: оно полно жизни, оно неугасимо живет среди людей, сковывая их мысль своею мыслью, поработая их чувства в нем разлитым чувством, покоряя их волю, если относится к сфере политики, нравственности или права. Никогда даже не пытались определить, откуда истекает эта особенная жизненность всего гениального. Но после всего изложенного выше это должно быть ясно; оно несет в себе жизнь бесчисленного ряда людских поколений, которые не произойдут больше, которые угасли, не появившись — для вечной жизни в объектированном создании. Тот, в ком произошло это странное, глубокое и таинственное явление, имя кого не сойдет более с уст людей, сам стоит среди них, погруженный в себя, с потухающим взглядом, и они называют его «гением».

## XXVIII

Если бы мы захотели дать себе отчет, что между гениальными созданиями человека есть самое вековечное и наиболее достойное, то, после некоторого колебания, без сомнения назвали бы сферу религиозного и нравственного. Если другими созданиями гения человек наслаждается и, наслаждаясь, тоскует по каком-то и далеком и близком мире, который ему, однако, не открывается в них, — то, встретив религиозное или нравственное, он вдруг перестает искать иных и закрытых миров, о которых он почему-то знает; начинает любить это религиозное и сливается с ним так тесно своею душой, что всегда почти предпочитает расстаться со своею жизнью, нежели расстаться с ним. Преобразуется ли при этом душа его, или именно оно, это религиозное, и становится самою душой в нем — об этом мы не можем судить; но только история свидетельствует нам всем своим содержанием, что хотя ни в какой религии не говорится ни о чем осязаемо и грубо известном,

хотя никому она не обещает никаких благ и особенно — благ земных, также осязаемых и уже, несомненно, известных — однако целые народы поднимались на защиту того, что в этой сфере они считали истинным и погибали без какого бы то ни было сожаления о том, что гибнут. Напротив, их лица светились радостью, они благословляли свою смерть за такое дело и умирали с надеждою на какую-то иную и вечную жизнь. В религии то, что наступает для человека за гробом, и есть именно самое значащее и важное; земная же жизнь человека есть только ничтожный обрывок целого, не имевший вне отношения к нему никакой важности. Равно и все, что он создает в этой жизни гениального или вульгарного, чему хочет и пытается придать значение абсолютного — религию рассматривается, как второстепенное и временное; а главное, она учит — там, за гробом, куда не унесет человек созданий своего гения, куда он уйдет *один*, оставив по его сторону все, что его так радовало или забавляло при жизни.

И удивительно, что все эти учения о том, о чем никакое внешнее чувство и никакой предмет не говорят человеку, он принимает с совершенною твердостью и повсеместно. Соберите перед несколькими простыми людьми, вечно жившими только грубым опытом, тесным знанием окружающего, толпу ученых, и если они станут им говорить о том, что земля есть шар, который они объехали кругом, сперва как бы спустившись вниз и потом поднявшись кверху, — слушающие найдут это мало вероятным и не поверят, найдут противоречие с этим в своем ежедневном опыте и отвергнут как *чудесное и невозможное*. Но вот перед этой же толпой людей приходит человек, почти столь же простой, как они сами, и начинает говорить им о том, что когда человек умрет, и все видят его труп, он в сущности не умирает, но только переходит в иную жизнь, радостную и вечную, и та же толпа, которая на уверения ученых упорно и тупо молчала, услышав эти совершенно необыкновенные слова, радостно и твердо говорит: «да, это так, это будет», хотя совершенно не знает, как это будет, и почему, и где эта удивительная жизнь за гробом. Какое странное различие в восприятии истин равно маловероятных, равно неизвестных из окружающего, и где причина этого различия — подумано ли об этом достаточно?

Итак, мы должны признать существование в человеке некоторого темного инстинкта, где хранятся его религиозные влечения или идеи, и который до времени остается как бы безжизненным, но пробуждается навстречу идеям и влечениям, идущим из вне. У одних людей этот инстинкт находится как бы в скованном состоянии и его содержание скудно, у других же он полон жизненности и обилен по содержанию; но по чрезвычайной его распространенности в роде человеческом — мы

должны думать, что совершенно нет людей, у которых бы он отсутствовал, хотя и есть между ними вполне отвергающие религию. Как у слепорожденных и глухих мы находим органы зрения и слуха, но только недоразвитые и от этого одного не действующие, — так и у людей, искренно и правдиво говорящих, что они не чувствуют в себе ничего религиозного, объективно мы должны признать существование этого общего человечеству инстинкта, но лишь в состоянии зачаточном, болезненно недоразвившемся, который потому и не действует.

Его проявление в истории образует то, что мы называем религиями; но, конечно, рассеянные черты религиозного проникают всю жизнь человека, сопутствуют словам его и поступкам, когда они и не имеют прямого отношения к религии. Каждое доброе чувство к ближнему, радость на чужое счастье, высказывание правды, когда оно почему-либо трудно — все светлое и, мы готовы сказать, истинно жизненное на земле есть религиозное; все то, что успокаивает нашу душу и исполняет ее чувством счастья, совершенного и вечного удовлетворения, — таково лишь в силу религиозной природы своей.

Но это — только черты религиозного, то есть отделившиеся части чего-то, что существует и как целое. Природа человеческой души, ее существование за гробом и отношение там к чему-то высшему и безусловному, с чем она имеет какое-то сродство, неосязаемую связь — вот что составляет это целое, рассеянные черты которого мы так любим в своей жизни. Любопытно наблюдать, как неодинаково у различных народов, населяющих землю, выражаются эти главные, составные части всякой религии. По мере *того*, как мы спускаемся к низшим и низшим расам человечества, мы видим у них религиозные представления все более грубыми или недостаточными, суживающимися и затемненными. Как будто то, через что проходит в человеческую душу религиозный свет, становится все меньше по мере того, как мы отходим назад в историю или спускаемся вниз по ступеням развития человеческого рода; и уменьшению этого света повсюду сопутствует возрастание совершенства человеческой природы, как духовной, так и физической. Но окончательно этот свет нигде не угасает, и, можно сказать, где он начинается — там начинается человек.

## XXIX

На различие в религиях, которое породило столько неправильных отношений к себе, мы должны смотреть как на степени, как на несовершенные усилия слабой природы человека правильно отнестись к тому, к чему истинное отношение существует одно. Их содержимое —

то, к чему стремятся все религии, чего они все ищут, — есть одно для всех людей, и одинаково они чувствуют это, но по различию своей духовной организации, по неодинаковому уровню своих способностей не умеют придать единство и общность выражению своего чувства. Но так как правдивость, глубочайшая серьезность есть общая черта всякого отношения к религии, то каждое племя человеческое, вместо того, чтобы притворно поклоняться совершенным способом, которого оно не понимает — у себя наедине, и скрываясь от взоров остальных людей, поклоняется горестно и несовершенно, неправдиво и серьезно тому же высшему, чему поклоняются и все люди; поклоняется в жалкой и неумелой форме. Тайное и глубокое сознание несовершенства своего поклонения, вероятно, присуще всем низшим религиям, и от этого именно они тщательно скрывают от других народов точное знание себя, окутываются мраком и таинственностью. Если бы кто-нибудь, приобретя это точное знание о религиозных представлениях какого-нибудь племени, сказал людям, принадлежащим к нему: «только-то вы понимаете о том существе, которому поклоняетесь — вот *все*, что я у вас узнал о нем», — они, без сомнения, резко отвергнули бы *полноту* его сведений, со стыдом и трепетом, но и с ненавистью к спрашивающему, который их мучит за мало- способность — и в ней они не виновны. В этом отрицании и высказалось бы признание несовершенства своего поклонения, а в этом стыде и трепете — чувство беспомощности своей подняться к высшему и лучшему.

Некоторое подобие этих различий мы можем найти в других сферах человеческого творчества: все люди имеют некоторые геометрические представления (например, что тела природы, кроме длины, ширины и высоты, не имеют еще никакого четвертого измерения), но не умеют сколько-нибудь правильно выразить их; другие, уже наученные несколько, умеют выражать, хотя и не в строго научной форме, ошибаясь и путая, свои геометрические понятия, более сложные, чем те, которые знакомы всем людям; по мере возрастания годов учения и в меру способностей учащихся — эти знания, их точность и обширность возрастают; да и те, которые, отличаясь даже гениальными способностями, всю долгую жизнь свою посвящали изучению математики — знают, что многое в ней остается скрытым от них. Итак, области действительных истин о пространстве и его формах неизмеримо обширнее того, что усвоено и, может быть, что усвоимо человеком. Так и в сфере религии полнота истины скрыта от человека, и даже части этой истины, одни данные в удел ему, он выражает менее совершенно и более совершенно, по мере даров природы, которыми наделен. Быть может, еще ближе подойдет уподобление, взятое из сферы чувства: за то, что близко и

дорого дикарю, что ему родно — он, как и высоко развитой человек, отдает свою жизнь; но выразить свое чувство к нему он не может иначе, кроме как в нескольких бедных словах, простых и неукрашенных, порою бессвязных. Прислушайтесь же к тому, что говорит об этом самом дорогом существе высоко одаренный человек: он окружает его поэзией — то рассказывает о нем вымыслы, то поет его в песне, то мудро рассуждает о его значении. Однако чувство обоих, в силе своей и достоинстве, остается одно.

Поэтому сознание своей ограниченности должно быть присуще каждому религиозному человеку; и вместе — чувство сострадания ко всему, что не может воспринять религиозного даже и в той несовершенной форме, в какой оно стало уже доступно ему. Полный примирения взгляд на все религии, радость религиозному чувству в другом, в какой бы неумелой форме оно ни выражалось, при совершенно твердой уверенности, что истинная форма такого выражения есть только одна — все это должно стать естественным последствием такого живого отношения к религии и глубокого сознания человеческой слабости.

### XXX

Важнейшее различие между религией и между другими сферами человеческого творчества заключается в неодинаковом отношении их к своему объекту. Возьмем ли мы искусство, государство, науку, — в каждый момент своего существования, в каждом единичном своем проявлении, они лишь слабо сознают свое отношение к общим и неподвижным объектам, в них выражаемым: к *красоте* в самой себе, к *благу* в самом себе, к *истине* в самой себе. Главное, значащее в них, есть они сами: *данное* учреждение или закон, *данное* познание того или иного предмета, *эта* статуя, *эта* картина. Напротив, каждая религия и во всякий момент своего существования бывает полна сознания своего объекта — того Вечного Существа, к которому она относится; и каждый отдельный акт в ней, каждый предмет или явление в ее сфере постоянно обращены бывают к этому объекту, вне связи с ним не имеют вовсе никакого значения. Таким образом, центр, связующий и объединяющий все порознь создания в известной области, слаб повсюду, кроме религии, и каждая такая область является перед нами, как мир отдельных и самостоятельных предметов, но только сходных между собою, например скульптура — как ряд скульптурных произведений, наука — как совокупность исследованных фактов, и также все прочее подобное. В религии же этот связующий и объединяющий центр могущественно господствует над всеми отдельными ее проявлениями, и о

всякой религии мы скажем, что она есть поклонение Богу, совершающееся так-то, но никогда не скажем, указывая на группу предметов (ритуал) или фактов (история), что они суть религия.

Таким образом, в то время как о других сферах творчества мы еще можем думать, что в них дух человеческий хочет выразить только богатство *своею* содержания, — о религии мы должны сказать, что в ней дух человеческий *своего* ничего не имеет — он только ищет, стремится. В ней мы открываем, наконец, объект, к которому направляется психическая деятельность человека, здесь именно наиболее напряженная, самая прекрасная, вековечная. Самый характер этой деятельности здесь настолько изменяется, что нам странно назвать ее «творчеством», как мы называем ее всюду: действие объекта становится так сильно и настолько ясно, что мы называем ее «восприятием».

Но здесь мы достигли границы как предмета, который исследуем, так равно и самого исследования. Вечное солнце, скрытый центр жизни, под далеким лучом которого некогда впервые шевельнулось вещество особенно и своеобразно, и затем потянулось к нему куда-то, с каждым шагом приближения становясь все оживленнее и прекраснее — этот центр нам открывается, наконец, в религии, как объекте ее. Без какого-либо перерыва, следя за рядом восходящих существ, развивающихся одно из другого, мы, наконец, достигли грани его — человека, на котором цепь органического восхождения прерывается; но, достигнув этой грани, органическая энергия не останавливается, а, преобразовавшись в психическую, является в человеке, как сила по-прежнему движущая и устрояющая, но уже не его самого, а его создания. Следя и здесь за восхождением, которое продолжается, как и прежде, но только с иными внешними чертами и в иной сфере, мы отмечаем, как предварительную ступень его — образование человеческих рас, и затем в последней и предельной из них — кавказской, находим историю. В этом новом и своеобразном явлении природы процесс восходящего творчества выражен особенно ярко и резко, и в нем появляется черта, которая впервые бросает свет на общий смысл всего восхождения, на его вероятный конечный исход: каждое поднятие по ее ступеням, всякий акт психического творчества сообразно мере своей сопровождается ослаблением организации, из которой он исходит; человечество тает, восходя куда-то и по мере того, как восходит. Находя различие в силе и красоте творчества, мы отыскиваем высшую грань его, непереступаемый предел — в гениальном; и, присматриваясь к нему внимательнее, видим, что в нем завершается история и оканчивается человек: первая не восходит более, и физические черты второго расшатываются и гас-



нут. Сравнивая различные сферы, где проявляется гений, с целью отыскать высшую между ними и в ней снова открыть нить восхождения, мы останавливаемся на религиозном, как высшем на земле и драгоценнейшем для человека. Более чем где-нибудь, достигнув этой сферы, человек обнаруживает беспокойство, силится освободиться от чего-то тягостного, сбросить с себя что-то, и лишь на столько, на сколько не успевает в этом, остается еще неудовлетворенным. Чувство окончательной удовлетворенности есть самое замечательное и совершенно исключительное, что приносит с собою человеку религия, и этот факт полон самого глубокого смысла. Великий Гёте, счастливый и спокойный, каким мы привыкли считать его, сказал однажды, что если собрать все минуты его жизни, когда он был счастлив, то их едва наберется несколько часов. Какое грустное сознание, какая глубокая тайна всей жизни человека высказана в этих немногих словах: как беден и жалок, как слеп предстает нам этот прозорливец-гений, если мы сравним его с каким-нибудь убогим странником без имени, который кажется должен бы вечно проклинать судьбу свою, и вместо этого показывает нам веселое лицо свое, говорит, что у него есть что-то, вследствие чего он никогда не может быть несчастлив.

Нам остается сказать только несколько слов, чтобы закончить мысль свою. Если в других областях творчества только созидание, но не восприятие созданного, вызывает в большей или меньшей степени угасание физической организации человека, то в сфере религии не только созидание, но и всякое очень сильное восприятие созданного сопровождается подобным угасанием. И здесь лежит объяснение *аскетизма* — этой особенности религиозной жизни, которая такую глубоко и резко чертой отмечает всякое повышение религиозного чувства, и так странна для всякого внешнего наблюдателя, так необычайна в истории. Аскетизм, налагаемый на себя человеком, есть лишь смутное предчувствие глубочайшей тайны, заложенной в существо его, только предварение вечной и необходимой судьбы его на земле. Достигнув своей цели, процесс достижения прекращается; когда она появляется — средства становятся более не нужны и рассыпаются: таков общий закон всякой целесообразности, и он не нарушается в человеке, как и нигде в мироздании.

На этот исход человеческого развития мы не должны смотреть с грустью, но радостно и с надеждой: природа целесообразности такова, что в ней последующее никогда не бывает низшим сравнительно с предыдущим, и цель всегда лучше, нежели какое-либо из средств. Вот почему всякое сожаление о разрушении последних есть только ошибка

чувства, не руководимая мыслью. Нечто подобное тому глубокому явлению, которое совершается в природе, когда органическая энергия преобразуется в психическую, совершается без сомнения и в момент окончательного угасания физической организации человека. В чем заключается это явление и какая иная и высшая форма существования, нежели психическое, наступает для человека за этим угасанием — об этом мы ничего не можем знать; но все аналогии в природе заставляют предполагать ее, и об ней говорит религия, как о чем-то светлом и радостном.

Скажем еще несколько слов об отношении объекта религии к объектам других сфер творчества. Истина в самой себе, которую ищет человек в знании; красота в самой себе, которую он выражает в искусствах; добро в самом себе, частицу которого неполно и несовершенно осуществляет в государстве — все это при сколько-нибудь внимательном анализе обнаруживает себя, как свойство чего-то, а не как самостоятельное существо. И здесь, нам думается, лежит объяснение слабой связи этих сфер творчества со своими объектами, которые все суть только *признаки*. Если мы станем искать, что же связует в себе эти признаки, что является существом безусловно истинным, безусловно благим и высшим нежели всякая красота, то мы найдем, что, по общему сознанию всего человечества, оно есть то самое, на что указывает ему религия. Таким образом, объект этой последней является, в своих вечных и безусловных атрибутах, объектом и всех иных сфер творчества человека в истории, и что бы последний ни совершал, к чему бы он ни стремился, зная или не зная, он всегда в сущности стремится к одному. Религия, поэтому, есть объединяющий центр человеческой жизни, и она остается таковою даже и тогда, когда ее имя не произносится. Можно идти к предмету и не видя его; и все те, которые восставали когда-нибудь истории против религии, насколько при этом искали истины — приближались к ней. Но эта смесь истинного и ложного есть всегда свидетельство ограниченности человека: те, которые были наиболее свободны от этой ограниченности, в какой бы сфере они ни трудились — всегда чувствовали этот общий центр их; от этого величайшие художники были религиозными (Рафаэль, Мурильо), высшие произведения зодчества суть храмы (Парфенон, готические кафедралы), и те, которые были наиболее мудры из людей и раскрыли для человечества самые глубокие тайны мироздания, в какое бы время и среди какого народа они ни жили — всегда были религиознее своего времени и своего народа (Аристотель, Ньютон, Фарадей). И можно вообще сомневаться, был ли в истории хотя один человек, который при несо-

мненном величии духовных даров своих, и в особенности при величии мысли — в то же время был бы не религиозен.

---

Мы коснулись внутренней стороны процессов природы, руководимые одним явлением в ней, самым глубоким и таинственным — явлением красоты. При этом мы обошли молчанием проявления ее в холодной, безжизненной природе — самой темной в мироздании, наиболее далекой от человека и всего менее для него постижимой со своей внутренней стороны.

Было бы несогласно с требованием осторожности, если бы, оканчивая это исследование, мы снова не оговорили той степени достоверности, которою обладает оно: эта степень крайне недостаточна — она гораздо ниже той, какая всегда почти может быть соблюдена при исследовании внешней стороны природы. Но в той среде, где вращалось наше исследование, и не остается ничего другого сделать, как только, введя свою мысль внутрь изучаемого предмета и продолжая свободно и правильно раскрывать ее — смотреть: точно ли отвечают формам этой раскрывшейся мысли внешние наблюдаемые формы самого предмета. В случае их соответствия, есть высокая вероятность думать, что мысль, избранная нами для объяснения предмета, действительно выражает его скрытую, внутреннюю природу.

Эту степень вероятия, оглядываясь на пройденный путь, мы можем признать за мыслью, положенною нами в основу объяснения двух великих сфер природы — органического мира и человеческой истории. Сила целесообразности, являющаяся в первом как органическая энергия, зиждущая, устрояющая и совершенствующая его в частях и в целом, — во втором является как психическая деятельность, и которая, нарастая во времени (в силу целесообразной природы своей), становится творчеством. Таким образом, две объясняемые сферы природы, запечатленные одинаковою чертой — присущим им развитием, являются носителями одного и того же начала, но которое проявляется в каждой из них в различной форме. Глубокая соотносительность между органическою энергией и психическим творчеством, которую мы проследили фактически на явлении красоты в природе и во всех важнейших, всеобщих явлениях истории, заставила нас признать это единство; а нарастание во времени этого общего для органического мира и для истории начала, в связи с законом возрастания энергии всякого явления по мере приближения его к своему источнику, побудило нас признать это начало за целесообразность.

Идея целесообразности, таким образом, позволяет нам хоть как-нибудь понимать природу в целом; и в этом мы видим ее преимущество перед идеей механической причинности, которая остается, как теория — в одной стороне, а природа, как целое — в другой, без какого-либо соответствия, взаимно бесполезные друг для друга. Только внешнюю и детальную сторону отдельных явлений механическая теория объясняет правильно и просто, и насколько наука состоит в объяснении их — она может пользоваться ею. Но всякий раз, когда от анализа она восходит к синтезу, когда она хочет возвыситься до понимания всей красоты, устроенности и (в особенности) развития природы, она не может ничего иного сделать, как, оставляя механизм в значении *пособия* при объяснении, сделать *центральным* в этом объяснении — понятие целесообразности. Причинность *участвует* в устройстве мироздания, но *устраивает* его — целесообразность, всегда при помощи причин как *посредствующего*, — и хоть необходимого, но служебного.

Кто приступает к изучению природы, без каких-либо других целей, кроме как понять ее, не может уклоняться от этого принципа, столь удобного для понимания. Но исключительность этой цели столь редка, что мы не можем не признать стремления к ней одной — чем-то действительно трудным для человека. И, между тем, это трудное есть единственное условие *внутренней* свободы науки, то есть одинаковой готовности ее воспользоваться всяким объяснением, которое удобно. Трудно человеку поклоняться одной истине, и он вечно ищет еще каких-то иных богов, даже когда, по-видимому, враждует с ними.

В. Розанов